

ФЕДОР
ПАНФЕРОВ

Волжский
роман



Волга-матушка река
Раздумье

Волжский роман

Федор Панфёров

**Волга-матушка река.
Книга 2. Раздумье**

«ВЕЧЕ»

1958

Панфёров Ф. И.

Волга-матушка река. Книга 2. Раздумье / Ф. И. Панфёров — «ВЕЧЕ», 1958 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-7531-3

Федор Иванович Панфёров (1896–1960) – известный советский писатель, воспевший в своих произведениях трудовой подвиг советского народа, общественный деятель, один из руководителей РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей), главный редактор журнала «Октябрь», чье творчество неоднократно отмечалось государственными наградами и премиями. Роман «Волга-матушка река» рассказывает о восстановлении народного хозяйства в трудные послевоенные годы. Главный герой, Аким Морев, секретарь Приволжского обкома, отдает всего себя общему делу. Борьба с разрухой, нехватка человеческих и производственных ресурсов подчеркивают мужество и самоотверженность простых тружеников, обнажая лучшие качества русского народа.

ISBN 978-5-4484-7531-3

© Панфёров Ф. И., 1958

© ВЕЧЕ, 1958

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	20
Глава третья	35
Глава четвертая	52
Глава пятая	70
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Федор Панферов
Волга-матушка река. Книга 2. Раздумье

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

Часть первая

Глава первая

1

Море буйствовало...

Оно колыхалось, перекашивая горизонт, хлопало водяными ладошками, как бы подгоняя волны. А волны походили на косяки диких, разгоряченных коней: вырываясь откуда-то из необъятной дали, взвихривая седые гривы, они в стремительном галопе неслись на берег и тут падали, превращаясь в клокочущую пену. Вперемежку с ними, будто шагая по дну, наступали сказочные богатыри, то высовывая, то пряча густо-синие плечи. И все громогласно орало, металось, особенно там, где берег врезался в море острыми скалами. Здесь, обрушиваясь на каменную грудь, волны таранили ее и, ушибленные, сползали вниз, но тут же вздымались, более мощные и грозные.

А надо всем этим висела глубинная лазурь неба, и южное солнце калило землю.

Было красиво и страшно, потому курортники не купались. Они группами лежали на горячем песке, напоминая загорелыми телами стада тюленей...

Аким Морев пришел на пляж с некоторым опозданием и, посмотрев на отдыхающих, не без залихватства подумал: «Но ведь я когда-то Волгу переплывал», – и, переступив кружевную кромку застывшей пены, метнулся на встречу сказочным богатырям.

И все сказочное вдруг исчезло: вода оказалась настолько упругой, что ее еле-еле пробила рука, а волны кипели гребешками, будто расплавленный свинец... А вот и девятый вал, почти такой же, что и на картине Айвазовского, только этот весь в движении и молниеносно растет, становясь огромным, точно высоченный хребет, покрытый вечными льдами.

– Шалишь! Эй! – словно в юности на разгоряченного жеребенка, прикрикнул Аким Морев и на миг оторопел, даже растерялся перед грозной водяной горой, как иногда теряется человек, неожиданно попавший в трясину: куда ни ступишь – засасывает. Он хотел было плыть к берегу, а его что-то держало, куда-то утягивало. – Шалишь, эй! – еще раз прикрикнул он, но вал с сокрушительной силой обрушился на него, и Аким Морев утерять власть над собой: море сначала вскинуло его на гребень – мелькнула лазурь неба, – затем плашмя ударило по тугой воде. В глазах потемнело, что-то хрустнуло в груди, и он потерял сознание.

Очнулся он на пляже, ощущая, как кто-то растирал ему виски, кто-то, будто рычагами, двигал его руками.

Придя в себя, он увидел кипящий котел – море, а направо скалистый берег, на который со всего бега кидались разгневанные волны.

Было это давно, но тот девятый вал Аким Морев запомнил на всю жизнь...

Вот и сейчас, многое пережив, став секретарем обкома партии, он, невольно содрогаясь, прошептал:

– Ай-яй-яй! Как глупо я тогда наварлся! Хорошо, что море выкинуло меня, но ведь оно могло и проглотить, как акула рыбешку.

Нечто подобное девятому валу он встречал и потом, и не на море, а в жизни, и потому стал, как казалось иным со стороны, до чрезвычайности осторожен в решениях возникавших перед ним крупных общественных задач. Конечно, осторожность его зиждилась не на трусости, а на сознании ответственности перед народом. Опыт говорил Аким, каким тяжелым бременем

могут лечь на плечи народа с кондачка принятые решения, поэтому-то, прежде чем сделать заключение по делу, имеющему большое жизненное значение, он тщательно изучал факты, беседовал с людьми, примерялся... и зачастую откладывал решение, почему и казался иным торопыгам «долгодумом».

– Да, девятый вал. Сколько раз в жизни приходится сталкиваться с ним!.. И все-таки мы иногда оголтело кидаемся ему навстречу и утягиваем за собой тысячи людей, – проговорил он и задержал взгляд на рыжем потоке, ворвавшемся в кабинет.

Казалось, рыжие лучи солнца нахально лезут в открытые окна, намереваясь все вытеснить, затопить, как иногда прорвавшаяся река затопляет котлован: вон уже дымкой окутался диван, порыжели портреты, стены, легкие гардины, а поток все плывет, плывет, меняя облик предметов, находящихся в кабинете.

Красиво?

Прежде Аким Морев непременно залюбовался бы таким потоком, но теперь, наученный горьким опытом, уже знал, что золотистая рыжинка – предвестник беды: воздух насыщен микроскопической пылью, пригнанной из среднеазиатской пустыни. Если ветер не повернет в другую сторону, следом за рыжинкой нагрянет всепожирающий суховей, и тогда хлеба вскинутся пожелтевшими колосьями, подсолнух опустит черные, опаленные листья, пересохнут водоемы, речушки, а воздух переполнится такой густой мглой, что в нем, словно в тусклом зеркале, будет отражаться лик земли.

Ах ты, доля! Доля пахаря-хлебороба!

Ведь сколько раз ты, мученик земли, испытал ее – жестокую смерть, порожденную такой вот черной годиной.

Аким Морев в детстве тоже перенес это страшное и теперь постоянно видел перед собой родную деревушку, занесенную снегом, опустошенную голодом: нет ни коров, ни лошадей, ни собак, ни кошек, ни даже горькой птицы – вороны. Только кое-где в хатах уцелели люди, да и те лежат на холодных печках или у порога, не в силах отворить дверь, позвать на помощь!

Да и кого позовешь?

Куда пойдешь?

Выползай на улицу и кричи в пустое небо.

Так было когда-то.

Но разве ныне суховей – стол, уставленный яствами? Ведь только в позапрошлом году в Поволжье дыхание среднеазиатской пустыни сожрало сотни миллионов пудов хлеба.

А в этом году – в марте, когда перелетные птицы с юга тронулись на север и травы, прорвав верхнюю корочку земли, потянулись к солнцу, – область перепоясал ледяной ремень километров в сто шириной. Он лег на пути движения отар с Черных земель в колхозы и совхозы Приволжской, Сталинградской, Ростовской областей и Ставропольского края. На этом ремне в течение двух-трех суток погибло больше миллиона овец, в том числе около двухсот тысяч, принадлежавших совхозам и колхозам Приволжской области.

Передавали Аким Мореву, что под броней льда погибла и отара знатного чабана Егора Васильевича Пряхина, а сам он слег, потеряв дар речи.

Вот он где, сокрушительный девятый вал!

Секретарь обкома уперся руками в стол. От напряжения набухли плечи, а свежее, даже с оттенком румянца лицо покрылось тонкой сеткой морщин.

«Человек – это звучит гордо». Кой черт гордо, коль все ползаем в ногах у природы и молим пощады! – со злобой произнес он и снова вспомнил, как разбивались волны о скалистый берег. – Где, когда и как мы построим свой скалистый берег, о который разобьются злые силы природы? – И глаза секретаря обкома затопила тоска: хотелось ему по-настоящему вывести «в люди» свою область, а природа наносит удар за ударом, удар за ударом...

2

Месяцев семь назад, вскоре после того как Аким Морев был избран первым секретарем Приволжского обкома партии, к нему в кабинет вошел председатель областного исполкома Опарин Алексей Маркович. Поблескивая в улыбке зубами, он некоторое время молча топтался перед столом: еще не знал характера нового секретаря обкома и потому не мог предугадать, как тот отнесется к тем думам, какие давным-давно тревожили самого председателя. Небольшого роста, в белом костюме, он походил на взъерошенного петушка, который собирается закукарекать, но его что-то пугает, и он только хохлитесь и хлопает крыльями.

Вот что он думал: «Сколько уж их было на моем веку, секретарей? Пять? Нет, шесть... Этот седьмой. И каждый был со своим характером. Иной, глядишь, хороший мужик, а шербинка: помешан, например, на озеленении города. Людям жить негде, водопровод ни к черту, а для него главное – озеленение. Другой, серьезный, вдумчивый, любил, чтобы ему возражали; а следующий за ним не терпел возражений... Предпоследний, Малинов, сгиб на банкетах: каждый вечер находил повод. Вот до Малинова был настоящий секретарь, подлинно народный радатель – Моргунов. Но ушел на фронт. А какой характер у этого, нового? Значит, опять познавай нрав секретаря и вырабатывай соответствующую тактику и стратегию». И, потоптавшись у стола, сверкая обворожительной улыбкой, какую всегда пускал в ход перед «вышестоящим», Опарин начал издали:

– Ах, Аким Петрович! Правильно на днях вы говорили: витаем в облаках, а на землю внимания не обращаем, – запустил он пробный шар, думая: «А ну-ка, что на это ответит секретарь?»

«Прощупывает! Что же? Это хорошо», – подумал Аким Морев и заговорил:

– Вы что, Алексей Маркович, на исповедь ко мне пришли или меня исповедовать?

– Более-менее да, – растерявшись от неожиданного вопроса, промямлил Опарин.

Аким Морев располагающе улыбнулся, вызывая на откровенность:

– Давайте-ка напрямую. Выкладывайте, с чем пришли, – и, встав из-за стола, навис над маленьким Опариним: был намного выше его и крупней.

Опарин внимательнее посмотрел в серые, с золотистыми крапинками глаза секретаря обкома, на его чуть скуластое лицо, на курчавые, густые волосы и позавидовал, что у того нет седины, а у него, предоблисполкома, уже засеребрились виски, несмотря на то, что был моложе Акима Морева лет на десять.

«И до чего, черт, красивый!.. Что фигура, что лицо. Что ж, вдовец; нет у него семейных забот», – мелькнула мысль, и тут же Опарину вспомнилась его жена, Дашенька, женщина юркая, острая на язык, любившая за столом и особенно перед подругами свысока порассуждать на политические темы.

– С чем пришел, Аким Петрович? Весь пришел. Весь, полностью, – все так же неопределенно ответил он.

– Думы-то какие у вас?

– Думы? Думы разные. По думам-то сразу перелетел бы в коммунизм.

– Таких авиаторов у нас немало. Нам же с вами подобное не разрешено. Сказано: ходи по земле и не топчи ее попусту, а вместе с народом облагораживай. Так ведь, Алексей Маркович?

– Неопровержимо, – согласился тот, однако опять начал издали: – Облагораживай? Ее, землички-то, у нас вон сколько. Сарпинские степи, Черные земли... Ого! Миллионы гектаров! И никакими ножками мы ее не топчем, а так – лежит и лежит она, матушка.

– Ну что вы! – возразил Аким Морев, еще пристальней наблюдая за Опариним. – А овцеводство?

– Ерунда: пасем овец так же, как и сотни, а пожалуй, и тысячи лет назад.

– Эка куда хватанул!

Аким Морев подметил: собеседник употребляет уменьшительные слова: «овечки», «водичка», «земличка».

«Видимо, смущается», – подумал он и сказал:

– Вода нам нужна. Большая. А мы что? Печалимся, слезы льем... Слезами озера не наполнишь.

– Вот именно: озера-то у нас в степи почти каждый год пересыхают, значит, правильно – вода нам нужна, большая, – с жаром подхватил Опарин и только теперь начал высказывать те думы, с какими и пришел к секретарю обкома.

Подойдя к карте, висящей на стене, он нажал кнопку: знал, как это делается, потому что сам, скопировав у Акима Морева, повесил у себя в кабинете такую же карту, с такой же шторкой и кнопкой.

Как только Опарин нажал кнопку, шторка взвилась, и тут же открылась карта области, разрисованная условными знаками, обозначающими, где и что построено, строится, где и что добывается. Вон, например, крекинг-завод, гвоздильный, силикатный, цементно-шиферный. А вот тут, чуть повыше Приволжска, ляжет через Волгу плотина и будет создан самый крупный в стране гидроузел. Это вот автомобильный завод. Здесь добываются нефть, газ. И всюду по карте разбросаны черные и зеленые пятна, похожие на заячьи следы: черные пятна – нефть уже найдена, зеленые – ведется разведка. В длину область километров на пятьсот, но северней она гуще заселена, зато южнее больше черных и зеленых пятен. И тут тоже много условных знаков, но это главным образом обозначены колодцы и животноводческие, овцеводческие фермы. Область огромная. По территории она, пожалуй, посостязается с любым малым государством Европы. В южной части она пустынна, зато богата запасами нефти, газа, великолепными природными пастбищами.

Открыв шторку, Опарин приподнялся на цыпочки (Аким Морев повесил карту, сообразуясь со своим ростом), и казалось, сейчас начнет говорить о богатстве области, а он повел пальцем от Приволжска на юг.

– Видите, Аким Петрович, какая цепочка озер обозначена на карте? Тянется она километров на двести, а ниже ее, разрезая Черные земли, лежит низменность вплоть до Прикаспия. Это, как известно, бывшее русло Волги. Не наше дело допытываться, какие силы повернули Волгу на юго-восток. Наша забота о другом. – И Опарин заговорил о том, что существуют уже десятки проектов орошения степей. – Вагон проектов! – горячась, крикнул он. – Одни авторы предлагают поставить вот здесь, в верховье, мощнейшие насосы, затем прорыть перемычки между озерами, зацементировать их, построить три-четыре плотины, гидростанции, шлюзы, вокзалы, сделать канал судоходным. А построив все это, пустить в ход насосы – и вода из Волги хлынет в степи, вплоть до Прикаспия, насыщая Черные земли. Хорошо? Красиво? Ловко? И на десятки тысяч лет. Но... нужно затратить миллиарды рублей... и каждая шерстинка с овечки станет равноценна волоску золота. Отбрасываю прочь. Требую: дешевле! Ученые уступают, но все равно: на одной чаше весов овечка, на другой – золото. Опять говорю: «Долой, долой!» – И тут Опарин засиял, будто бутон розы раскрылся. – Нашелся-таки молодой инженер... Бирюков – гениальный человек! Упростил все: каналы, шлюзы, гидроузлы – долой! Берега канала не цементировать. Зачем тратьте цемент? Там почва – красная глина, твердая, как медь. Дешево и сердито! – И Опарин в упор глянул на Акима Морева, с нетерпением ожидая, что тот скажет.

– И во сколько обойдется? – помолчав, спросил секретарь обкома.

– Миллионов восемьсот.

– Сумма порядочная.

– Но ведь не миллиарды.

– Это верно – не миллиарды.

– А польза какая? Выгода? Миллиардная. Ведь мы пасем овец на Черных землях, уповаю на небо: прольет дождь – озера наполнятся водой, не прольет – на озерах хоть в футбол играй. А канал переполнит озера, лиманы волжской водой, и тогда мы – владыки степей. Да на такое дело все колхозники пойдут! – начал уже страстно доказывать Опарин.

Тогда же Аким Морев подробно ознакомился с проектом, и тот вскоре был передан на рассмотрение инженерам, ученым города, после чего обсужден на расширенном заседании бюро обкома и, наконец, утвержден правительством.

По настоянию Опарина начальником строительства Большого канала был назначен молодой инженер Бирюков, автор проекта.

И вот уже четвертый месяц ведется строительство канала. В этом строительстве охотно принимают участие колхозы, чьи овцы пасутся на Черных землях и в Сарпинских степях.

«Обязательно надо там побывать: ведь это создается одна из крепостей, – глядя на рыжий поток, предвестник суховея, думает Аким Морев. – Цимлянское море, Сталинградское, Саратовское, Куйбышевское, Горьковское, Приволжское, искусственные моря на Днестре, Каме, оросительные каналы и наш Большой канал – вот та твердыня, о которую разобьется суховея». Секретарь обкома намеревался было уже вызвать своего помощника Петина, чтобы тот предупредил шофера Ивана Петровича о поездке на строительство канала, но зазвенел телефон, и в трубке послышался голос Опарина.

Предисполкома только что вернулся со строительства канала и, захлебываясь от восторга, стал рассказывать, что он там видел и как идут работы.

– Все как один стремительно устремились на цель – построить радость для народа! – говорил он.

Закончив разговор с Опариним, Аким Морев снова посмотрел на рыжий поток, мысленно передразнивая предоблисполкома:

«Стремительно устремились». Слишком уж восторжен Алексей Маркович!.. Такие и нарываюся на девятый вал. Нет, мне на канале надо побывать, непременно. Загляну в Разлом к Жуку, разузнаю, почему у соседей колхозники отрываются от земли и текут в город. Кстати заеду к Елене». И секретарь обкома покраснел.

3

Помощник Акима Морева Петин, маленький и юркий, как стриж, да еще с хохолком на макушке, и впрямь походил на птицу. Он сидел в комнате, которая отделяла кабинет первого секретаря обкома от кабинета секретаря обкома по промышленности. Комната сегодня пустовала: неприятный день. В ней было столько солнца, что, казалось, все – стол, за которым сидел Петин, диван, мрачный, как бы навсегда осевший в углу, стулья, расставленные вдоль стены, точно ожидающие приказа часовые, гардины, волнообразно висящие на дверях, – все было залито рыжеватым потоком.

Петин поднял голову в тот момент, когда мягко отворилась дверь кабинета секретаря обкома по промышленности и на пороге появился Александр Павлович Пухов.

Высокий, еще не потерявший стройности, он шагнул на середину приемной, и тут его льняные волосы под потоком солнечных лучей зарыжели, как зарыжели и брови.

По-иному, нежели Аким Морев, восприняв рыжинку в воздухе, он проговорил, озорно подмигивая:

– Яркость-то какая! А!

– Да-а, – со вздохом сожаления подхватил Петин, сразу поняв, на что намекает Пухов, и представил себе: заводские озера, заводи и то, как он с Пуховым забрасывает сети, как они бotaют, то есть загоняют рыбу, и как та, освобожденная из ячеек, шлепается на дно лодки. –

Вечерком в субботу, Александр Павлович! – повелительно подчеркнул Петин: на рыбалке он всегда верховодил.

– Хорошо бы! – согласился Пухов и кивнул на дверь кабинета первого секретаря обкома. – Акима Петровича втянуть бы... заразить!.. – затем заглянул в тетрадь, в которую Петин заносил какие-то цифры. – А ты все ковыряешься, Чибис? – Такую кличку Петин получил на рыбалке: быстрый на ногу, он, когда бежит, неслышно подпрыгивает, точно чибис, несомый ветерком. – Государственное время транжиришь, – как всегда грубовато и с насмешкой проговорил секретарь обкома по промышленности.

Петин сменил тон на другой, подчиненный, потому что дело теперь шло уже не о рыбалке. Он достал сводки уполномоченных по определению урожайности, проанализировал их и понял, что облисполком завышенно подсчитал валовой сбор урожая прошлого года, «чем и нанес непоправимый ущерб области». Об этом Петин недели две назад по секрету сообщил Пухову, но тот встретил сообщение насмешкой:

– Не по чину ты нос суешь: помощник первого секретаря обкома, ну и выполняй его волю... неукоснительно.

– Неужели, Александр Павлович, не видите: продовольственные магазины в городе трещат, – тоном подчиненного и в то же время настойчиво проговорил Петин, тыча карандашом в тетрадь. – Колхозники хлынули из деревни.

– Что ж, для нас, промышленников, это хорошо: не приходится ездить за рабочей силой в колхозы. Это, брат, из деревни высвобождаются излишние рабочие руки, – по-своему расценил положение Пухов.

– Что-то вы запоете потом!.. Только ты ему пока ни гугу. – И Петин карандашом же через плечо указал на дверь кабинета Акима Морева.

– Ладно, ни гугу. А тетрадку твою я бы в печку. Тоже нашелся контролер-бузотер! Вот что, скажи ему: я на автомобильный.

– А сам-то что же? Он тут.

– Видел его утром: туча... Яркость-то какая! – повторил Пухов и с этими словами покинул приемную.

Петин с минуту смотрел вдаль, снова видя перед собой заволжские озера, заводы – тихие, поблескивающие на солнце, затем с досадой махнул рукой и углубился в вычисления, рассуждая:

– Вы, члены бюро, полагаете: раз вы решаете судьбу людей, то и все? А вон они какие – подводные камни. Нет, я доложу ему! – Он было поднялся из-за стола и подошел к двери кабинета, но задержался: оробел.

Петин не знал, что Акима Морева в эти минуты волновало то же самое. Секретарю обкома было известно, что в городе магазины опустошены: масло – редкость, за хлебом, сахаром, крупой – очереди, не говоря уже о мясе. На днях созвали представителей торгующих организаций. Выяснилось: склады пусты. Не выписывать же мясо, хлеб, сахар из Москвы!

Как же это случилось?

Ведь все были уверены, что в этом году город, районные центры будут снабжаться без перебоев. Причем уверенность эта зиждилась на «тщательном подсчете реальных данных», как уверял Опарин. И вот они, «реальные данные», на столе перед секретарем обкома! Валовой сбор зерна прошлого года составил больше двухсот миллионов пудов. Государству сдано, продано около восьмидесяти миллионов пудов, остальное – на семена, на прокорм скота, на трудодни (в среднем вышло больше двух килограммов), даже в запасный фонд отчислено восемнадцать миллионов пудов. Казалось бы, все хорошо, все правильно. И тем не менее факт остается фактом: с продовольствием беда, а колхозники потоками заполняют город.

«Вот на какой девятый вал навались мы. Дотянуть бы до нового урожая! – мысленно произносит Аким Морев. – Ну а если эта рыжinka превратится в суховей? Тогда что?»

И тут в кабинет вошел смущенный Петин.

– Аким Петрович, – заикаясь, что всегда являлось у него признаком наивысшего волнения, заговорил он, вертя в руках тетрадь. – Я долго молчал, но теперь обязан вам сказать.

– Что?

– Свое, – окончательно смешавшись, произнес Петин.

– Не можете ли подождать с этим своим? – раздраженно проговорил Аким Морев, досадуя на Петина за то, что тот с чем-то личным вмешивается в ход его самых напряженных раздумий.

Но Петин развернул тетрадь, положил ее на стол и будто с обрыва ринулся в пропасть.

– Я хорошо знаю статистику: учился в сельскохозяйственной академии у профессора Каблукова. Мы, статистики, вроде кудесников, нас не обманешь...

– Ничего не понимаю, – мельком взглядываясь в страницы тетради, испешренные вычислениями, с тем же раздражением проговорил Аким Морев. Он знал, что Петин хорош на своем месте, прекрасно ведет свое «хозяйство» и еще страстный рыбак: нет-нет, да и насыдет на Акима Морева, чтобы тот поехал с ними на рыбалку. И теперь, чтобы поскорее освободиться от него, секретарь обкома впервые грубо сказал: – Опять о рыбалке, что ли?

Петин принес Мореву выводы, которые путем тщательного анализа сделал сам и о которых никому, кроме Пухова, не говорил, боясь, не возводит ли он поклепа на областное руководство. И только выверив, придя к полному убеждению, что это правда, решил открыться перед секретарем обкома. А тот вон как принял... Да чего он воображает? Разве Петин ни на что другое не способен, кроме как на рыбалку? И он, тыча пальцем в тетрадь, скороговоркой пояснил:

– Валовой урожай зерна в прошлом году определен по области в двести с лишним миллионов пудов. Так ведь? Так. Госпоставки, натуроплата, госзакупки и тому подобное составили больше восьмидесяти миллионов пудов. А колхозникам на семена, на прокорм, в запасный фонд что осталось?

– По вашему исчислению, сто двадцать миллионов. Это ведь хорошо?

– На бумаге. А фактически и шестидесяти миллионов нет. Вот посмотрите-ка мой подсчет. Я математически доказал – надувательство.

– То есть как же это? – возмущенно воскликнул Аким Морев. – Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?

– Говорю не я, а цифры, – уже напористо подчеркнул Петин.

– Да вы же обвиняете областное руководство в мошенничестве!

– Я никого не обвиняю, а констатирую факт.

– «Констатирую»? «Факт»? Чепуху вы мелете! Идите, занимайтесь своим прямым делом.

Но как только Петин покинул кабинет, Аким Морев задумался. В самом деле, что же это такое? Недавно секретарь горкома Сухожилин, видный экономист, опубликовал обширную статью, в которой на основе статистических данных, взятых из облплана, доказывал, что в области за последние пять-шесть лет запасные фонды в колхозах удвоились. Но если так обстоит дело, то колхозники от своего хлеба не тронулись бы за хлебом в город. Значит... Что значит?

Аким Морев, как и все руководители областей, краев, республик, верил итоговым цифрам плановых органов. А тут Петин покушается на истину, утвержденную такими авторитетами. Ведь Акиму Мореву, как и всякому, хорошо известно, что в каждом сельском районе вели работу уполномоченные Совета Министров Союза по определению урожайности. Они тщательно изучали состояние хлебов и посылали свои заключения об урожае в соответствующие областные органы, а те все это суммировали для Госплана, где цифровые данные проверялись чуть не под лупой и только после этого публиковались на страницах прессы.

И вот теперь Петин покушается на эти цифры.

«С ума, что ли, он спятил... на рыбалке?» – подумал секретарь обкома и позвонил Опарину.

– Удивительный человек этот Опарин, Алексей Маркович! Хохоchet и мелет какую-то чушь.

– Да чего вы так волнуетесь, Аким Петрович? Не при вас ведь сие случилось. – Но в голосе Опарина чувствуется тревога, и он старается эту тревогу прикрыть, вишь ты, каким щитом: «Не при вас сие случилось».

– Но вы-то как считаете, хлеба в деревне в самом деле нет, как уверяет Петин? – спрашивает секретарь обкома и стискивает кулак левой руки, как бы выжимая из предоблисполкома признание.

– Допускаю, но не везде, конечно... Есть такие колхозы, как у Иннокентия Жука, например, где закрома трещат от хлеба. Но таких по области наберется десяток-два. Миллионеры. А есть и такие, верно, хоть шаром покати. Откровенно вам говорю, Аким Петрович.

И опять с хрипотцой хохоchet Опарин. Черт знает что! И Аким Морев в упор ставит вопрос:

– Вы, значит, тоже считаете, что валовой сбор урожая по области был завышен?

– Нет-нет. Что вы! Как я могу такое брякнуть?

– Тогда куда же девался хлеб в остальных колхозах... не у миллионеров?

– Затрудняюсь ответить. – И опять хохоchet с хрипотцой. – Право же, зря волнуетесь, Аким Петрович! Все уладится, поверьте уж мне. Двенадцатый год я тут в области. Видел всякие виды.

– Какие, например?

– Всякие. И ныне поднажмем на богатенькие колхозы и хлебцем накормим города, да и бедненькие колхозы. А колхозники... поболтаются в городах и сбегут восвояси. Поверьте уж мне, мужик привык резать ножом свою буханку, выпеченную в своей печке, своей бабой.

– Если есть буханка.

– Дадим...

– Забрав эту буханку у другого колхоза?

– А что же делать, Аким Петрович? Петин, конечно, погибает, что и толковать. Но рациональное зерно в его рассуждениях есть: иные уполномоченные по определению урожайности похвастались, показали завышенный урожай и оставили колхозы, как говорят, на бобах. Иные председатели зерно растранижирили, другие его вовремя не убрали, под снег пустили. Всякое бывало. Область-то большая, с Бельгию, пожалуй.

– А начальник облплана?

– Ендрюшкин? Он ныне работает у меня инструктором по деревне. Странно: народ его почему-то называет Мороженым быком. Странно? Правда? А?

Из этого разговора Аким Морев понял, что Опарин или хитрит, скрывая что-то, в чем виноват и сам, или просто не знает положения дел на местах.

Как раз в эту минуту снова появился Петин и, с обидой глядя на секретаря обкома, сказал:

– Елена Петровна, – и ушел, уже зная, что при этом разговоре ему быть не положено.

Аким Морев стремительно снял телефонную трубку... и тут же представил себе Елену, вернее, ее глаза – синие, временами переходящие в яркую лазурь. Может быть, они так резко выделяются потому, что на лице лежит темный загар, а сквозь него на щеках пробивается румянец? Они вдумчивые и, кажется, не знают еще горестных слез: детские. Да и вся она какая-то непосредственная: обо всем говорит так, как думает, не тая, не дипломатичая... Этой непосредственности давным-давно нет в Акиме Мореве. Ему, чтобы высказаться по тому или иному вопросу, надо семь раз отмерить и один раз... да и не отрезать. А у Елены все просто. Такая же милая простота и в ее внешности: на голове голубой шарфик повязан так, что его концами может свободно играть ветер; платье тоже не из дорогих шелков, но как прекрасно оно обле-

гает ее тоненький, с перетянутой талией, девичий стан! А главное, она смелая: отправилась в полупустынные степи и препаратом Рогова лечит там коней от болезни, называемой инфекционной анемией и по опасности равной чуме. Живет в саманушке с подслеповатым окошечком и земляным полом, а счастлива так, будто ей отвели дворец.

Акиму Мореву очень хочется повидаться с Еленой.

Ведь не виделись они давно. Март, апрель... май наступил. Вон сколько дней и ночей не встречались! Зачем скрывать, он каждую свободную минуту тоскует по Елене и, ложась спать, произносит ее имя.

Ну вот, сейчас они договорятся о встрече, полюбуются луной. Что плохого в этом? Плохо, когда человек перестает любоваться ею: конец.

В кабинет снова вошел Петин и на этот раз чеканно произнес:

– У аппарата член Центрального Комитета партии товарищ Моргунов.

Моргунов когда-то был секретарем Приволжского обкома. Во время Отечественной войны командовал танковой дивизией. Под Варшавой танк, в котором находился Моргунов, был подбит термическим снарядом и загорелся. Теперь левая рука Моргунова в черной перчатке, лицо в бледно-розовых пятнах, местами стянутое ожогами, и если бы не глаза, большие, серые с синевой, вдумчивые и почти всегда опечаленные, трудно было бы смотреть на такое лицо.

Аким Морев уважал Моргунова, считал его знатоком сельского хозяйства и потому торопливо сказал Петину:

– Скажите Елене Петровне... потом... потом, – и взял трубку с другого телефонного аппарата.

Моргунов, поздоровавшись, сначала расспросил о ходе строительства Большого канала и Приволжского гидроузла, затем произнес:

– Плохо у вас в колхозах. Что же это вы? На Пленуме ЦК прекрасную речь произнесли, и я так порадовался за вас, а на деле? Хорошее надо в жизнь проводить, а вы?

– Трудно, товарищ Моргунов.

– Трудно? Легко луной любоваться.

Аким Морев решительно запротестовал:

– Ну, мне не до луны.

– Еще бы! Секретарь обкома – и любовался бы луной! Ведь очевидно, что постановление Пленума Центрального Комитета партии направлено не только на пользу государства, но главным образом на пользу колхозников, потому-то они и называют последний Пленум ЦК «колхозным пленумом». Неужели вы думаете, народ откажется от хорошего? Для того чтобы провести в жизнь хорошее, вовсе не надо быть чудо-богатырем.

– Понимаю... Но... не вижу пока, кто тормозит.

– Вероятно, в деревне есть люди, которым невыгодно проводить в жизнь постановление Пленума... материально невыгодно. Для миллионов выгодно, а для какой-то прослойки невыгодно. Отыщите их и вместе с народом устраните. Опять трудно?... Знаете, я обязан по-товарищески вас предупредить: можете потерять доверие Центрального Комитета партии, – вовсе не со строгостью в голосе закончил Моргунов, но у Акима Морева застучало в висках так же, как и тогда, когда его топил девятый вал.

«Это ведь не только его слова», – подумал он, зная, что в этом случае Моргунов, как член ЦК, не будет говорить того, что не обсуждено еще на секретариате ЦК.

В кабинет снова вошел Петин.

– А теперь Елена Петровна, – но, увидев хмурь в глазах Акима Морева, нахмурился сам: он умел угадывать по глазам секретаря, какой у того был разговор: «благоприятный» или «неблагоприятный». В данном случае, поняв, что разговор с Моргуновым получился «небла-

гоприятный», Петин хотя еще и не погасил обиду на секретаря обкома, однако посочувствовал ему и неслышно вышел из кабинета, плотно прикрыв дверь.

На душе у Акима Морева после разговора с Моргуновым стало еще тяжелей.

«Справлюсь ли я с этим гигантским цехом под открытым небом?» – подумал он о сельском хозяйстве области и поэтому не так-то уж стремительно поднял телефонную трубку, но, услышав голос Елены, на какой-то миг забылся. Зная, что в этой обстановке о личном чувстве говорить нельзя, он, повторяя одно и то же слово, все нажимал и нажимал на него:

– Здравствуй... здравствуй... здравствуй!

А когда Елена сказала, что хочет видеть его, что она никак не может покинуть ферму, а встретиться им обязательно надо, и что «у нас степи цветут-цветут: все пламенеет тюльпанами», он ответил:

– В ближайшие дни, – и, положив трубку, еще долго смотрел в сторону южных степей, вспоминая о встрече с Еленой на ферме в марте этого года.

Они до зари просидели тогда у стога сена, и Аким Морев высказал все, что положено сказать в этих случаях, как сказала и она.

А на заре, идя к саманушке, они слышали под ногами легкий хруст молодого ледка. Елена, встревоженная, положила руки на плечи Акима Морева и проговорила:

– Родной мой! Начинается обледенение; оно хуже снежного бурана и может вызвать в степи огромные бедствия. Поезжай в обком... к своему большому столу: ты там сейчас нужен.

В то время Аким Морев еще не знал, на какие коварные неожиданности бывает способна природа в Сарпинских степях и на Черных землях. Он хорошо знал одно: в иную годину сушевой главный удар обрушивает на Нижнее Поволжье и особенно на Приволжскую область. А то, что порою свирепый ветер морским песком, как мелкой дробью, изрешечивает арбузы на бахчах или поднимаются снежные бураны и насмерть засыпают отары овец, стада коров, – об этом он пока еще никакого понятия не имел. А тут какое-то обледенение! Чепуха!

«Просто она меня выпроваживает... почему-то... Не почему-то, а потому, что я для нее стар: старше на двадцать лет. Ночью у стога она не видела старческих мешочков под глазами, а сейчас, на заре, всё стало видно – вот и “езжай: ты там нужен”», – с убийственной прямо-той подумал, он, но посмотрел в ее чистые, по-детски доверчивые глаза и безоглядно поверил всему, что сказала ему Елена. Но она почему-то в эту минуту неопределенно засмеялась, и это снова насторожило Акима Морева.

– А ты не гонишь меня?

Она торопливо проговорила:

– Разве у нас пятиминутная встреча? – и убежала в саманушку.

Когда Аким Морев вошел в саманушку, Елена полулежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, беззащитная, ожидающая.

Он не тронул ее: все-таки какая-то соринка заронила в сердце – и уехал, в чем потом десятки раз раскаивался. Сейчас, после телефонного разговора с Еленой, он твердо решил сегодня же в ночь съездить к ней.

– До нее всего каких-то сто восемьдесят километров – по степной дороге. Утром вернусь в обком, – прошептал он, но в душе у него снова зазвучали осуждающие слова Моргунова, и то радостное, зовущее, что вспыхнуло в нем во время разговора с Еленой, погасло.

Поехать к ней с такой тревогой?

Где уж там? Чего уж там?

Отыскав на карте ферму под названием Арк-худук, он задержался на этой точке.

Арк-худук!

Будто какая-то древняя столица! Хотя это всего только название колодца, вокруг которого расположились две саманушки с подслеповатыми окошками да кошары, переполненные большими конями.

Но для Акима Морева Арк-худук – столица: там живет и работает Елена.

Когда-то он теперь туда попадет?

А дни летят, летят, летят!

Он снова посмотрел на рыжий поток, льющийся в кабинет через открытые окна. Тот уже багровел, словно отражая в себе зарево пожара.

«Двигается бедствие, а тут еще: “Можете потерять доверие Центрального Комитета партии”! Хорошо, что Моргунов только по телефону сказал эти жестокие слова. А если от имени ЦК прозвучит в печати: “Морев умеет говорить, но не умеет работать... Болтун!”» И секретарь обкома решительно переключился на дела области, хотя все еще слышал, как звучит теплый, призывный голос Елены.

4

Многим, в том числе и Акиму Мореву, особенно когда он работал секретарем горкома в Сибири, казалось, что в деревне все идет очень хорошо.

Да и о чем было задумываться, коль создавались сотни новых заводов, фабрик, расширялся всех видов транспорт, воздвигались крупнейшие в мире гидроузлы на Волге, Каме, Дону, Днепре, Ангаре, Иртыше, Оби, в печати то и дело появлялись очерки, статьи о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, почти ежедневно обнародовались Указы Президиума Верховного Совета о награждении колхозников, механизаторов орденами и присвоении звания Героя Социалистического Труда! Страна действительно по окончании Отечественной войны с великой энергией принялась за хозяйственные дела, и нашлись такие лихие трубачи, которые затрубили во все трубы о якобы уже достигнутом полном благополучии.

В подтверждение такого «благополучия» в печати выступили догматики – философы и экономисты, – люди, хвастающиеся, что они на зубок знают не только труды Карла Маркса и Ленина, но и философов Западной Европы, древнего Египта, Индии, Китая, а по сути дела люди, насыщенные различными теориями, как мешок, наполненный семенами различных злаков. Они утверждали, что разница между городом и деревней уже ликвидирована, что стремительно ликвидируется разница между умственным и физическим трудом и что классы в стране «растворились».

«Бывшие крестьяне, ныне колхозники, уже не образуют класса, хотя остатки мелкобуржуазной идеологии в них еще и живут. Эти остатки положено нам уничтожить путем создания соответствующих обстоятельств, памятуя, что, по учению Маркса, «обстоятельства создают характер». Какие же это обстоятельства? Мелкая частная собственность на землю и орудия производства порождала в былые времена в деревне мелкобуржуазную идеологию, а вместе с этим и деревенский идиотизм. Социалистический строй все это устранил и создал новые формы. Колхозы – надолго; МТС как ведущий государственный рычаг – надолго. Совхозы – надолго. Трудодень – надолго. Надо ударить по рукам тех, кто пытается отыскивать какие-то новые формы. Законы политической экономии социализма выработали свои постоянные формы в деревне, и ломать их – это значит подрывать социалистический строй государства» – так писал в областной газете все тот же секретарь Приволжского горкома партии Гаврил Гаврилович Сухожилин. Ему вторил и редактор газеты Рыжов.

В то время подобные философы, экономисты приступили к разработке «программы действия в период постепенного перехода от социализма к коммунизму», и в круг этих философов, экономистов был приглашен и Сухожилин. Несмотря на то что город еще лежал в руинах, да и вся страна еще только-только оправилась от того бедствия, какое принесла война, и в деревне сахар был редкостью, – несмотря на все это, Сухожилин однажды в ожидании начала заседания бюро обкома развернул перед членами бюро такую программу действий:

– Выдавать бесплатно хлеб всему населению страны! Хлеб – основной продукт питания. Затем мы приступим к бесплатной выдаче мяса, масла и так далее. Следом за этим бесплатная выдача остальных товаров. Так постепенно вращаемся в коммунизм.

Конечно, Сухожилин этот пункт изложил не в столь сжатой форме. Он его теоретически обосновал, подкрепил цитатами из классиков марксизма и завершил свою речь такими словами:

– Вы понимаете, какой бомбой взорвется подобный акт в капиталистических странах?!
Еще бы!

В Советском Союзе населению выдают хлеб бесплатно!

Члены бюро долгое время молчали, каждый по-своему оценивая сухожилинскую «программу».

Опарин думал:

«Значит, вози и раздавай, вози и раздавай. Наконец-то избавлюсь от хлопот. А то ведь они все говорят, говорят, а хозяйственный-то воз мне приходится тянуть».

Николай Кораблев думал: «“Хлеб! Из-за него на земле резня идет” – так когда-то говорил мне отец. Конечно, это целая революция – хлеб бесплатно, но...» – и не высказал своего сомнения.

Вместо него высказался Александр Пухов. Этот, как всегда грубовато и с насмешкой, произнес:

– Да ведь скоту будут травить хлеб! У каждого рабочего то коза, то корова, то поросенок. Мешками хлеб потащат! Такой кавардак начнется!

– Эмпирический подход, – решительно возразил Сухожилин. – С таким подходом мы коммунизм не построим. Скот хлебом будут кормить? Зачем? Во имя чего? Мясо, молоко появятся в изобилии. Зачем человеку ведро молока? Продать? Кому? Скушать самому? Невежливо. Человеку на питание в день нужно не больше литра. Иди и возьми в магазине.

Это рассуждение Сухожилина прозвучало настолько убедительно, что даже Александр Пухов, шутейно поцарапав затылок, сказал:

– Черт его знает!.. Заманчиво, конечно! И красиво! Но... не верю: хлеб скоту скармливать начнут. Начнут! На первый случай, конечно.

Во главе обкома тогда стоял Малинов, этот «народный самородок», как величали его собутыльники; а он, в свою очередь, в кругу друзей утверждал:

– Сухожилин? Это, братцы, океан ума. Мы за ним живем, как за броней: термический снаряд – и тот не прошибет. Так что, друзьяки, слушайте его! Слушайте. Ну! Чебурахнем за нашего философа! – и опрокидывал коньяк из рюмки в рот.

В данном случае он, выслушав «выкладки» Сухожилина и возражения Пухова, искоса посмотрел на последнего, а затем изрек:

– Низменные мысли у Пухова: перспективы не видит. Да мы уже в этом году добудем столько зерна, что каждого по макушку засыплем, в том числе и тебя, Александр Павлович.

– Ну? Меня-то не надо, – отшутился Пухов.

В самом деле, о чем было задумываться?

Но вот в эту весну на Пленуме Центрального Комитета партии было вскрыто, что в ряде районов, в том числе и в Приволжской области, колхозы-миллионеры разбросаны, как островки в океане, а в остальных колхозах трудодни или вовсе не оплачиваются, или выдача равняется стоимости коробки спичек.

Центральный Комитет партии, конечно, не ограничился только констатацией. Он мобилизовал промышленность, и оттуда в колхозы двинулась мощная техника: всех видов тракторы, комбайны... Из учреждений высвободилось около ста тысяч агрономов, и те выехали на постоянную работу в колхозы; туда же были посланы десятки тысяч инженеров, зоотехников, ветврачей, директоров МТС, совхозов. Был разработан ряд практических мероприятий

по оплате труда, по повышению цен на сельскохозяйственные продукты и впервые разрешено выдавать колхозникам ежемесячный денежный аванс...

Решения весеннего Пленума были, пожалуй, самыми мудрыми в истории колхозного строя, однако колхозники в Приволжской области все еще «текли» в город, на новостройки. Уходили они группами, снимаясь семьями, распродалая скудное хозяйство или заколачивая окна хат. В чем дело? Этого Аким Морев не смог выяснить ни на заседаниях бюро обкома, ни в частных беседах со знатоками сельского хозяйства. Знатоки сельского хозяйства говорили что-то неопределенное, вообще, а Опарин твердил свое:

– Вы, Аким Петрович, не знаете сельского хозяйства.

– Ну, допустим, я не знаю сельского хозяйства. Вы знаете. Тогда скажите, за что нас в печати критикуют? – возражал секретарь обкома.

– Накинулись на одну область – и «валяй»!!!

У Опарина за последнее время стало в ходу слово «валяй».

– Сельское хозяйство – это вам не заводской цех. В цехе что? Переставил станки – и валяй, – стремясь убедить Акима Морева, говорил он.

Аким Морев знал, что «валяй» в цехах так же недопустимо, как и в сельском хозяйстве, а надеяться на то, что со временем все само собой «уладится», «утрамбуется», как уверял Опарин, значило пустыми глазами смотреть на жизнь.

Невысказанные мысли не в силах отредактировать даже самый дотошный редактор, и никак их не может раскритиковать копун-критик. Мысли зачастую не подчиняются и самому человеку, особенно в часы глубокого раздумья.

В данный момент Аким Морев и находился в состоянии глубокого раздумья.

Ему сначала пришла такая мысль: «В Америке в сельском хозяйстве рабочих рук занято гораздо меньше, чем у нас, а продукции оно дает гораздо больше, нежели весь наш колхозный сектор. В чем дело? У нас – колхоз, там – фермерство?»

Если бы о такой мысли Акима Морева узнал Гаврил Гаврилович... Ну, Сухожилин, секретарь горкома... Знаете ведь его. Такой сухонький, а глаза всегда красные: читает, много читает. Если бы он узнал о такой мысли Акима Морева, то непременно вцепился бы ему в горло: не думай.

Но мысли человека всегда рождаются в столкновении противоположностей, выражаясь языком философов, развиваются по законам диалектики, если, конечно, человек разумный, не оторванный от источника живой действительности и не раб догмы.

И у Акима Морева мысли развивались по законам диалектики. Сначала всплыла противоположность колхозам – фермерство. Но оно, фермерство, дает продукции гораздо больше, нежели колхозы на данном этапе. И может быть... может быть? Тут Аким Морев вспомнил индусскую поговорку: «Если ты в пути догадался, что идешь не той тропой к намеченной цели, не упрямысь, вернись». И, естественно, у Акима Морева возникла новая мысль:

«А в самом деле, может быть, мы не той тропой идем? Десятки лет создавали колхозы и вдруг... Может быть, не та тропа, а мы упрямысь? Тогда каков же путь? Фермерство? Ну... Ну!» И тут противоположная, протестующая мысль забурлила в уме секретаря обкома, и перед ним сразу же предстал весь советский народ, победивший во время Отечественной войны такого злейшего, наглешего, бронированного врага, как полчища Гитлера. Ведь в конце-то концов победил коллективизм, порожденный новой формой хозяйства – колхозом, а не фермерством. Но... Безо всяких «но» надо ехать в деревню и там прощупать жизнь собственными руками.

И Аким Морев вызвал секретаря Нижнедонского района Астафьева, известного стране агронома, проработавшего около двадцати лет в одном районе, и вместе с Астафьевым выехал в северную часть области, где еще не успел до сих пор побывать.

«Вместо того чтобы ехать к тебе в Разлом, Лена, я отправляюсь на север. И не могу туда не ехать», – подумал он, садясь в машину рядом с Астафьевым, вглядываясь в его лицо, еще более выцветшее за весну.

Глава вторая

1

Никогда жители Разлома не переживали того, что пережили в эту весну. Бывало. Всякое бывало. Горело село. Однажды пожар выхватил почти все дома на главной улице, и погорельцы, сидя на пепелище, несколько дней голосили, глядя в пустое небо. Бывали черные годы. Умирали люди. Хорошие люди умирали. И все-таки то было совсем иное – иная тоска, иная боль, иная кручина.

А тут как будто нежданно-негаданно в семье умер ребенок. Всего несколько минут назад бегал, резвился, лепетал какую-то милую чепуху – и вдруг лежит мертвый!..

В марте месяце поздно ночью пришли на село ребята, помощники знатного чабана Егора Пряхина, и сообщили Иннокентию Жуку, председателю колхоза «Гигант», как несколько дней назад, когда чабаны погнали с Черных земель овец, на их пути сначала вдруг появилась изморозь, затем лег такой сплошной лед, что овцы не могли двигаться и погибли, скованные ледяной броней. Так пала и отара Егора Пряхина. А он сам, дойдя до околицы, уперся высоким посохом в землю, сказал:

– Мне в село хода нет: глаза от стыда лопнут, – и зашагал от села во тьму ночи, а за ним, опустив головы, побрели изнуренные собаки-волкодавы.

Как ни кричали ребята, прося Егора вернуться, как ни звали волкодавов, верные друзья чабана не покинули его и вместе с ним скрылись в глухих и необъятных, словно океан, степях.

Иннокентий Жук сидел на плетеном диванчике, напоминая собою гриб-боровик: лицо и шея в коричневом загаре, плечи широкие, сам коротковат, не жирный, а плотный, будто утрамбованный. Ну, гриб-боровик. Другого не скажешь. Выслушав ребят, он пересел за стол и тяжело навалился на него грудью, почти полностью заняв выпцветшее сукно. Ребята заметили: тонкие и почти незаметные на загорелом лице губы председателя вспухли и перекосились, а сильные руки (любую дверь высадит кулаком) тревожно зашарили по столу. Еще бы! Погибло две тысячи овец. Да каких! Лучших во всей степи! И Егор! Ай какой мужик Егор – слава чабанов: снежные бураны, ветры, пекло солнца – все было бессильно перед ним. А тут – натека вам – за два дня две тысячи трупов. Слух об этом дошел до Иннокентия Жука еще вчера. Не поверилось. А сейчас факт налицо. Что делать? Как отнесутся колхозники? Стихийное бедствие? Экое оправдание! Овец-то не воскресишь. Погибли. Две тысячи голов. Да каких! Эх! Слезы давят горло, как клещи.

В таком напряжении Иннокентий Жук сидел минуту-другую. На висках выступили капельки пота. Но ведь он, черт возьми, не профессор, чтобы обсасывать вопрос со всех концов. Надо действовать. Поднял большие серые глаза на ребят («Ух, страшен, мурашки по телу...»), сказал:

– Ничего... Вернется Егор Васильевич.

А Егор Пряхин шел и шел, огромный и сильный. До чего же он сильный: попадись ему сейчас волк, разорвал бы его Егор, как котенка! А вот разорвать тоску – гнет души – никак не может: давит она его, а стыд перед колхозниками, особенно перед Иннокентием Жуком, валит с ног. Тот ведь если и не скажет, то непременно подумает:

«Не уберег овечек, дуралей! Не уберег, и голову свою позором покрыл. А еще актив!»

– Нельзя было сбересть-то! Нельзя! – надрывно кричит в степь Егор и мотает большой головой, а волкодавы настораживают уши.

Крик Егора будит ночную тишь...

Степи еще не оделись в разноцветные травы: и житняк, и полынок, и ковыли, да и солянка – трава горькая, – только-только пробивают корку земли. Но там, где таращится полынок или солянка, степь уже иная, нежели там, где буйно рвет корку земли житняк. А главное – запахи! Подержи Егора Пряхина год-два вдали от степей, а потом принеси с завязанными глазами и положи на землю, он по запаху угадает, какой сейчас месяц. Да не только месяц, а и день и час: в разный час, в разный день, в разный месяц по-разному дышит степь. Ну а то, что заросли сухих прошлогодних трав, болота и озера, поросшие непролазными, поседевшими за зиму камышами, переполнены дичью – и какой! Чирки, кряквы, гуси, куропатки всех видов, а уж кулики – батюшки, каких только нет! – все это тоже очень известно Егору Пряхину. Вон под черным небом, усеянным яркими звездами, с тревожными призывами проносятся запоздалые гуси, и Егор знает: часть их оседет где-то здесь гнездиться, а большинство прямым сообщением полетит на далекий север.

Но они хитрые – птицы: как только дохнуло морозом, повернули вспять – на юг.

«Конечно, которые больные, погибли, оледенев, как и наши овечки, – рассуждает Егор. – И однако птица хитрее меня: заранее ушла от беды. А я? Задержаться бы на Черных землях, и овечки не попали бы в беду смертельную!»

Задержаться?

Егор знал: задержись он неделю-другую, и окот начался бы в пути. Сложное это дело – прием ягнят. В колхозах и совхозах на время окота призывают всех людей: ягненок надо обтереть, подпустить к матери, чтобы он узнал ее, да и она осмотрела бы его, чтобы потом смогла среди тысяч отыскать свое сокровище. После этого ягненок относят в особую кошару, а матери-овце создают покой. А кто тут, в глухой степи, будет принимать ягнят? Разродятся овцы – и ягнята погибнут при злых ранневесенних ветрах: не укрыть.

А вы знаете, что это за красота – ягненок? В первый день он еще хиленький, но кудрявый, весь в завитушках. А на второй, на третий – эге! Уже пошел в мир честной! А ноженьки-то у него слабенькие: тычет ими, как палочками. Но глаза с хитрецей: глянет на овец и вроде скажет: «Родня, конечно, вы мне, а все-таки у меня своя мамаша есть». А потом? Ох, что разделяет он потом: носится кругом, подпрыгивает, да так старательно, ну, дай крылья – взвовется в поднебесье... и опять к матери – сосать, потому что поработал и проголодался.

Задержись Егор на Черных землях – и устал бы степи трупами. Нет, он знал, в какой день и в какой час подняться с Черных земель, и погнал овец сильных, откормленных, таких, которые, пройдя триста километров, сохранили бы свежий и веселый вид.

– Ха! Не овцы, а сало на ногах! – так он хотел похвастаться перед односельчанами и ждал, что Иннокентий Жук при всех колхозниках скажет:

– Хвала и честь от народа Егору Васильевичу, вожак наших знатных чабанов!

Ах, умеет же этот Иннокентий Жук порою произносить задушевные слова!

А теперь кинет сурово:

– Дуралей! А еще актив!

– Не слова, а нож с зазубриной воткнет в печеньку, – шепчет Егор и опять кричит над-рывно, мотая головой: – Да ведь нельзя было! Никак! Сберечь-то! Разве бы я... – Но тут у него появляются другие мысли, и высказывает он их уже тише: – Экое утешение: «нельзя». Вот у тебя, Егор, сыны есть. Померли бы они враз, а тебе утешение несут: «Нельзя было иначе-то». Так и тут. Овечки полегли... а ты – утешение колхозу: нельзя иначе-то.

И шел Егор.

И думал Егор...

Есть у него человек, который примет его в любом состоянии. Оторви Егору руки, ноги, искалечь его всего, а тот человек с лаской ухаживать будет: кормить, поить. Человек этот – его жена Клания. Какая она? Тоненькая, будто девчушка. И руки у нее в черных трещинках, шершавые. Мажет она их на ночь сметаной, а они все равно шершавые, особенно пальцы. Ничего

не поделаешь – хозяйство: в колхозе работает, дома работает, за сынами ходит. Дочки – те уж вроде на отлете: старшая, Люся, – ветеринарный врач, две в институт поступили и живут в областном городе Приволжске. А сыновья – дома. Три парня. Самый младший, Степан, ну просто сорвиголова растет. Как только отец заявится с Черных земель, так сыновья кидаются к нему – бороться. Рыжие, крупные – в Егора. И все норовят одолеть отца, особенно Степан. Этот бьет чем попало и грозит:

– Я те накостыляю!

Вот какими дочками и сыновьями одарила Клania Егора... И, конечно, руки у нее огрубели: какую только работу не делали они! Однако когда она их положит на стол перед Егором, ему радостно: еще бы, мать!

Явись домой Егор весь изуродованный, примет она его. А вот теперь и перед ней стыдно. Ой, да что это за огонь – стыд!

И он шел и шел, не чуя под собой ног. Шел, сам не зная куда, не замечая того, что идет давно, а оторваться от села не может: кружится вокруг него, точно конь на привязи.

2

Весть о том, что Егор Пряхин не вошел в село, сначала докатилась до Иннокентия Жука, а затем до Клани... И Клania со всем своим выводком – тремя сыновьями – выбежала за околицу.

– Егор! Егорушка! Кормилец ты наш! – звала она, все дальше и дальше уходя в темную, глухую и безлюдную степь.

А в полночь, словно бомба разорвалась, поднялось все село, и колхозники во главе с Иннокентием Жуком, пешие и конные, размахивая факелами, ринулись на поиски...

Ласковой всех звал Иннокентий Жук:

– Егор! Красавец ты наш, Егорушка!

Егора Пряхина нашли на дне оврага, залитого лучами горячего солнца. Он лежал в сухих травах. Виднелись порванная майка и раскинутые мускулистые руки. Вокруг него сидели волкодавы и, задрав лобастые головы, выли.

Колхозники донесли Егора до хаты, здесь при помощи Клани раздели, уложили в постель, затем, стараясь не шуметь, вышли на улицу.

Клania глянула на беспомощно раскинувшееся богатырское тело мужа и, сдерживая рыдания, тихонько заплакала.

Егор лежал в одном белье, прикрытый по пояс простыней: на воле уже стояла жара. Было видно, как его крупные ребра, будто обручи на бочке, то вздымались, приподнимая рубашку, то опускались. Порою он дышал еле слышно, а иногда громко, точно бежал в гору, неся тяжелую кладь.

Когда мать вышла из комнаты, младший сын, Степан, еще не уяснив, что случилось с отцом, подошел к нему и так же, как тот, бывало, будил его, говоря: «Эй, Степан Егорович, брось валяться-то, вставай», – сказал:

– Эй! Егор Василич, брось валяться-то, вставай!

На него зашикали братья.

Степан, обиженный, отошел в угол, а когда Егорик, что был постарше его всего на полтора года, шагнул к нему и дотронулся пальцем до его плеча, он брыкнулся, как жеребенок.

– Их! Мимо, – зная уже этот прием братишки, насмешливо прошептал Егорик и еще шепнул: – Папка хворает... А ты: «Вставай, брось валяться».

Степан повернулся, глаза у него стали большими.

– А что?

– Чрус у него, – моментально придумав что-то невероятное, вымолвил Егорик.

– А что? – опять спросил Степан.

Сам не зная, как объяснить выдумку, Егорик, подняв глаза к потолку, развел руки.

– Докторша придет, скажет... И все одно тебе не догадаться: маленький.

– Я польшой, – возразил Степан.

– Как первому из блюда мясо таскать – маленький, а теперь «польшой»! – передразнил

Егорик и еще что-то хотел сказать, но в эту минуту в хату вошла доктор Мария Кондратьевна, женщина высокая, пожилая и с таким острым и длинным носом, словно у кулика.

В комнате сразу запахло больницей. Ребята высыпали на кухню и, заглядывая оттуда в комнату, стали прислушиваться, что говорит докторша.

Ничего не поняв из слов Марии Кондратьевны, Егорик все-таки наставительно шепнул Степану:

– Слышишь? Чрус у папки.

А самый старший, Вася, ученик седьмого класса, сказал:

– Болтаешь: чрус какой-то!

– А спросим... спросим докторшу, – уже окончательно веря, что у отца «чрус», заговорил Егорик.

Мария Кондратьевна в белом халате казалась не только строгой, но и страшной. Она долго провозилась около Егора Пряхина, что-то размешивая в стакане и вливая больному в рот. За всем этим ребята из кухни следили с испуганным любопытством. Но вот «докторша» достала ту самую штуку – с длинной иглой на конце, что так была знакома Степану и что он возненавидел всей душой. Достала штуку, чем-то ее наполнила и пошла к отцу. Ребята зажмурились и отвернулись.

– И-их! – только и произнес Степан, стискивая кулаки и весь перекашиваясь, словно длинную иглу запустили ему ниже спины.

– Ты что сморщился? – спросила Мария Кондратьевна, заглядывая в кухню. – Иннокентий Жук придет, скажу ему: «А Степан-то у нас трус!»

Степан было растерялся, затем запротестовал:

– Он яблоко даст... моченое. Вот.

3

На воле пробуждался день.

Сначала вдруг наперебой загорланили петухи огромного села Разлома и так же неожиданно смолкли, только какой-то отчаянный звонким, с хрипкой, голосом все орал и орал. Наконец и этот стих. Наступила пауза, но предрассветная тишь была уже нарушена. Теперь жди призыва вожака табуна, быка Илюшки... И в самом деле, вот и он подал голос, будто взял высокую ноту на флейте... Но в конце, от непомерного напряжения, что ли, сорвался на такую басину, что, говорят, даже коровам стало стыдно за своего вожака...

А потом все пошло как по-писаному: на конце села заиграл в рожок пастух, со дворов на улицу вывалились обленившиеся за ночь коровы и, поднимая придорожную пыль, потянулись на выгон – в степь; почти под самым окном домика Иннокентия Жука прокричала баба:

– Зорька! Я тебя! Я тебя!

Кому грозила, не поймешь, но прокричала так громко, что задребезжали стекла в домике Иннокентия Жука... Однако предколхоза и этот крик не потревожил: он спал крепко, без снов, на том же левом боку, на который лег вечер, подсунув кисть руки под щеку.

Труби хоть во все трубы, а Иннокентий Жук проснется, как всегда, только в пять утра. Зимой, летом, весной, осенью – ровно в пять. Хоть часы по нему заводи. Пробуждение не зависело от того, когда он заснул – в шесть ли вечера (чего, конечно, никогда не бывало), в двенадцать ли ночи или в три утра, – все равно в пять Иннокентий Жук на ногах.

И сегодня он тоже открыл глаза ровно в пять – минута в минуту – и сразу же глянул в окно, в которое так и лезло солнце, и увидел на привязи у калитки своего любимца, степного иноходца Рыжика. Как и каждое утро, конюх привел и привязал его у калитки.

Увидав иноходца, предколхоза тут же, без промедления, без раскочки и пошевел, стал думать о хозяйстве колхоза.

Что и говорить, хозяйство огромное. Одной выпасной земли до двухсот тысяч гектаров. Да земли что? Тут, в Сарпинских степях да на Черных землях, ее миллионы гектаров. Вон у директора Степного совхоза, форсуна Любченко, под совхозом четыреста тысяч гектаров. А что толку? Скачут по ней тушканчики да роются суслики.

А в колхозе «Гигант»?

Видите, как предколхоза, еще лежа в постели, растопырил коротковатые пальцы и резко свел их в кулак: вот, дескать, как мы орудуем.

Да, действительно, на землях «Гиганта» пасется около сорока тысяч «баранты», так ласково зовет овец Иннокентий Жук. Да каких! Первокласных. Лучших не найти не только в районе, но и в области. Найдись где лучше, Иннокентий Жук сторит от зависти, точно сухой лист.

«Неустанно глядеть вперед – в этом гвоздь гвоздей. К примеру, что значит провести в жизнь решения “колхозного Пленума”? Это значит создать такую материальную базу, чтобы колхозные силы развернулись во всю мощь, – мысленно произносит он. – Для этого-то и надобно неустанно глядеть вперед. Соседи еще только планируют, калякают, а мы на всех колесах айда вперед. Догоняй!»

А ведь до решения Пленума Центрального Комитета партии (это всем известно) председатель райисполкома Назаров наваливался на Иннокентия Жука, как градовая туча: то не так, это не так, тут нарушаешь артельный устав, там нарушаешь устав, не туда средства заколачиваешь, не на то тратишь, коллегиальность попираешь, с интересами государства не считаешься. Прямо-таки глотку готов был перегрызть, не говоря уже об инструкторе областного исполкома по прозвищу Мороженный бык. И почему Мороженный бык? Шут его знает! Даст же народ такую кличку! Может быть, потому, что у него такая сонливая походка, будто ноги чужие, и фамилия чудная – Ендрюшкин. Шут его знает! Только вот – Мороженный бык. Этот как насыдет, как насыдет с инструкциями разными, так хоть караул кричи!

Только секретарь райкома партии Лагутин давал полное согласие на все «мероприятия» Иннокентия Жука. А без него беги в пустыню и носи там вместо нормальной одежды воловью шкуру, питайся саранчой. Однако Иннокентий Жук не такой уж мякиш, чтобы падать духом: припертый к стене Мороженным быком, он притворялся наивным, восклицая:

– Ой! Нарушитель?! Вот спасибо-то вам: глаза мне открыли!.. А то я так бы и попер, Попер бы и попер... и – в тюрьму. Спасибо вам. Исправим. Незамедлительно... Вяльцев! – звал он своего расторопного заместителя и сурово кричал, подмигивая левым глазом, что по заранее договоренному означало «липа». – Вяльцев! Крути эту машинку к чертовой матери в обратный ход!

Так успокоив и обнадежив Мороженного быка, Иннокентий Жук выпроваживал его с благодарностью, а сам продолжал внедрять в жизнь свой план.

Вот, например, недавно «колхозный Пленум» сказал: осваивайте пастбища разумно. Пленум сказал! А разве до этого надо было осваивать степи неразумно! Хотя оно так и было – неразумно: строили жилища для чабанов на Черных землях, будто для охотников на озерах, – из всякого «шурум-бурума». В этом году построят – в следующем валяй заново. Так из года в год, из десятилетия в десятилетие. Ни тепла, ни уюта, ни света, не говоря уже о радио: чабаны по несколько месяцев жили словно на необитаемых островах.

Тоска!

Пустыня!

Нет! Иннокентий Жук все делает основательно. Лет пять назад он заложил на Черных землях двенадцать пунктов во главе с центральной усадьбой. И ныне достраивает двенадцать бревенчатых домов со светлыми окнами, электричеством, радио, библиотекой. В этих домах будут жить чабаны и их помощники. При домах обширные дворы для овец, рядом – великолепные кошары. Да кто не захочет вселяться в такие дома! Тем более там строится и центральная усадьба, где разместятся больница, ветеринарный пункт, магазин, почта. И туда же каждую неделю из Разлома отправляется машина: везет письма от детей, от жен, от нареченных и обратно – женам, детям, нареченным. А уж ежели тот или иной чабан заскучает – садись в кузов, слетай домой, приласкай жену. А хочешь, она сама примчится к тебе за триста километров.

– Не евнухи они у нас, чабаны, а люди. Захотел, погуляй в травах лимана с законной, – так сказал Иннокентий Жук.

Но тут на него под напором Мороженого быка и начал наскакивать райпрокурор Золотухин – человек мрачный, молчаливый, словно постоянно держал во рту железку, крепко сцепив ее зубами. Он нажимал письменно: где председатель колхоза достает лес на строительство домов, кошар, центральной усадьбы? На какие средства приобрел электростанцию для центральной? На каких началах приобретены гвозди, шифер, краска для полов, петли для дверей, стекло для окон?

«Какого черта тебе надо?» – иногда хотелось закричать Иннокентию Жуку, но он сдерживался, улыбался, отговаривался, притворялся наивным, а уличенный, раскаянно соглашался:

– Ай-яй-яй! Спасибо, дорогой товарищ Золотухин! Спасибо! А я – то не додумался. Ну, поправимся. Вяльцев! Крути на этом месте машинку в обратный ход.

Или вот года два назад в колхоз «Гигант» из Приволжска приехала девушка, сотрудница экспериментального института. Заявившись к Иннокентию Жуку, сказала:

– Иннокентий Савельевич, профессор Каплер послал меня к вам с большой просьбой. Нам очень нужен отмыв от шерсти. Ну, понимаете? Ведь вы перед тем, как сдавать овечью шерсть, моете ее?

– Отмыв? Грязную воду? – спросил он и уже хотел было отослать девушку к Вяльцеву: «Буду еще грязью заниматься!», – но в этот миг его будто кто толкнул под ребро и шепнул на ухо: «Погоди-ка, Иннокентий. Не торопись. Ведь иногда и в грязи попадаются крупинки золота. Для чего институту понадобился отмыв? Сам знаешь, профессор Каплер – человек с нюхом».

Иннокентий Савельевич перед девушкой весь расплылся в вежливой улыбке. Ну прямо-таки доцент!

– С большой словоохотливостью всегда идем навстречу науке, как люди весьма сознательные, понимая, без науки мы тупы, слепы и ни бе ни ме, как есть на сто процентов... – Вот как расшаркался перед наукой Иннокентий, и еще приветливей засветились его большие серые глаза. – Грязь эту, или отмыв, как вы по-научному называете, мы выливаем в канаву. Не жалко. Но ради любопытства к науке: к чему он вам, отмыв?

Девушка заколебалась; но глаза у председателя такие доверчивые, как у голубя, и она, тряхнув русой головкой, прошептала:

– Только это секрет. Ой!

– Ваш секрет – наш секрет. Как в могилке! – шепотом поклялся предколхоза и даже закатил глаза: дескать, небо свидетель.

– Из отмыва профессор Каплер отделил жир, а из жира... как бы попроще сказать... создал такое смазочное вещество, которое не замерзает даже при самом злом морозе. Понимаете, как это нужно для самолетов на Северном полюсе, для машин вообще. И авиапромышленность заказала нам такого смазочного вещества в неограниченном количестве.

«Эге! – мысленно воскликнул Иннокентий Жук. – Вон где пес-то зарыт: Каплер грязь сбивает в масло! Ну что же, за выгоду – выгоду». – И вслух, восхищенно:

– Ай да Каплер! Идем ему навстречу. Идем. А вы, что же, отмыв в цистернах, что ли, в город будете возить?

Девушка обрадовалась: так быстро согласился председатель, а ведь Каплер ее предупредил: «Жук – он жук и есть. Из его лапок даже небесную звезду не вырвать». А тут сразу согласился. И девушка, сияя глазами – победительница! – сообщила:

– Не-ет! Зачем возить? Мы с вашего разрешения здесь построим мойку, пришлем людей... грузовую машину. Бесплатно перемоем шерсть... и тут же будем отжимать материал для смазочного вещества и его-то отправлять в институт.

– Отжим в город? Вот что значит наука! Так передайте профессору: идем ему навстречу – мойку строите вы, вы оборудуете ее техникой, инструктор для обучения ваш, а рабочие руки наши. И притом мойка со всем оборудованием переходит в собственность колхоза, и колхозу же платится определенная сумма за каждую тонну отжима... в соответствии с законом, – для пущей важности подчеркнул Иннокентий Жук, вставая из-за стола и давая этим понять, что разговор окончен, а девушка пораженно вскрикнула:

– Как! Вы же выплескивали отмыв в канаву! А теперь плати!

– Выбрасывали, а ныне при помощи науки подбирать будем. Эти условия передайте Каплеру. Он человек деловой, поймет: у нас рот тоже широкий.

Через несколько дней, довольно похотывая, председатель колхоза доложил правлению, что профессор Каплер согласился принимать «отжим» от колхоза на тех условиях, какие ему через ту девушку выставил Иннокентий Жук.

– Это дело, так сказать, мимоходом даст колхозу за год тыщенок десять – пятнадцать. Конечно, при наших миллионных круговоротах это пустяк. Но зачем же такими кусочками бросаться?

4

Подобные тыщонки сначала растревожили «губу» у Вяльцева.

Вы ведь его знаете, Вяльцева, какой он? Тощий-претощий, будто из одних костей и кожи. Но на ногу вихрь и мастер на все руки. В колхозе его называют «вездесущий» – с ним колхозники сталкиваются всюду: в конторе, в коровнике, на поле.

Так вот подобные тыщонки встревожили Вяльцева, и он кинулся на поиски «резервов».

«Иначе всю инициативу на сегодняшний день сосредоточит в своих руках Иннокентий, – изысканно сказал он сам себе. – И потому я на сегодняшний день должен поставить вопрос в масштабе и проявить, хоть стой хоть падай, в полном духе новаторство: из ничего сделать нечто». Так он несколько дней ходил задумчивый, а порою вдруг загребал в кулак воздух и раздумчиво произносил:

– Беру из пустыря и кладу на народный фронт трудовой капитал.

Десятки, а может, и сотни лет в Сарпинских степях скапливались, прокаленные солнцем, кости животных – коров, лошадей. Обычно они оставались там, где забивали скот. Бурты. Еще издали их видно – белеют... И вот однажды Вяльцев привез из Приволжска человека, который настолько был стар, что со спины походил на половник, поставленный на попа, а пушок на его голове так и поводило даже при еле заметном дуновении ветерка. Его приезд удивил Иннокентия Жука и особенно агронома Марию Ивановну, женщину замкнутую, несловоохотливую и почему-то очень нервную.

– Это еще что за находка? – спросила она, даже не назвав «находку» старцем, а просто «это».

– Директором фабрики у нас будет Максим Максимович, – чтобы сразу поднять цену старцу, выпалил Вяльцев.

– То есть?

– То есть под его руководством наши старушки будут гребешки, расчески выделывать.

– Из чего? Материал где? – наступал на Вяльцева Иннокентий Жук.

– В степи. Видел, сколько там коровьих копыт, рогов? На миллион лет хватит. А Максим Максимович – мастер: шестьдесят два года на гребешковой фабрике в старом Приволжске проработал. То-то индустрия в городе была – одна гребешковая фабрика купца Тетерина! Так, что ли, говорю, Максим Максимович? – наклоняясь к «находке», на ухо ему проревел Вяльцев.

Максим Максимович отшатнулся, и желтоватенький пушок у него на голове так и повело волной воздуха.

– Ухо расколол! Орет! Громыхало!

Вяльцев отступил, точно перед ним заговорил грудной ребенок.

– Да разве ты не глухой?

– Не! Слышу все.

– Что же? Притворяешься?

– Эге! Чтобы при мне все, не таясь, говорили: дескать, глухой. А я за версту слышу, как мышь пищит.

Иннокентий Жук задумался, затем пристукнул кулаком по столу.

– Башковитый Вяльцев, додумался! Что ж, собирай правление. Утвердим.

А на заседании правления в бой вступила и Мария Ивановна. Она предложила:

– Нам следует заняться выработкой галет. Галеты – это такое полупресное печенье, способное пролежать, не портясь, и пять и десять лет. В таком печенье, то есть галетах, нуждается армия. Вот толкнуться бы к военным.

– Выгода? – спросил Вяльцев, считавший себя главным героем на сегодняшний день, и, протянув руку, потер палец о палец, как бы светля монету.

– Выгода? И колхоз, да и колхозники ежегодно до ста тысяч пудов зерна отправляют на рынок в Приволжск. Это называется отправлять продукцию за двести километров в сыром виде. А я предлагаю: правление скупает зерно у колхозников по рыночным ценам, превращает его в муку и из муки вырабатывает галеты. Всем выгодно: колхозникам, колхозу, армии... – Обветренное лицо Марии Ивановны с красивыми чертами всегда казалось увядшим, а тут оно озарилось такой внутренней радостью, что стало по-девичьи моложавым.

«Рано она мужа потеряла... да и смерть сынишки... вишь ты, как все это красоту ее сковало», – глядя на нее, подумал Иннокентий Жук.

А денька через два он уже отправился к командующему военным округом генералу армии Басову, человеку, как слышал Иннокентий, довольно суровому: «калякать не любит», но уж если даст слово – держит его.

«На какой козе к нему подъехать, вот гвоздь в голове!» – всю дорогу из Разлома до Приволжска – двести километров – размышлял Иннокентий Жук. Сидя в грузовой машине рядом с шофером, он то от страха перед генералом сжимался, то, разворачивая плечи, принимал гордый облик и шептал:

– Да мы сами генералы! Но у того генерала все в руках – и гнев и милость.

В городе командующего округом пришлось долго ждать: он пропадал то на учебных занятиях где-то за Волгой, то на заседании облисполкома... И Иннокентий Жук затосковал: не умел сидеть без дела. Правда, он побывал на рынке, осмотрел ларек колхоза «Гигант». Какой уж там ларек – целый магазин! Торговое помещение тянется вглубь. Зайдешь – ларек, а в нем вторая дверь и за ней – опять ларек. Назови магазином – налог увеличат, а ларек – налог меньше.

Полки, складские подвалы в «ларьке» пустовали. На виду стояли только бочки с арбузным медом, и в одной из них, открытой, плавал алюминиевый ковш. Иннокентий Жук подо-

шел к открытой бочке, ковшом зачерпнул мед и стал струйкой сливать его обратно. Струйка густая и янтарная.

– Вкусная, – сказал он и – к заведующему ларьком: – Плохо шуруешь?

– Нечем, Иннокентий Савельевич. Публика настоятельно требует деликатесы всяких принципов: мясочка, поросяточек, курочек, даже коровьи ноги и головы, вплоть до рубцов. Как что из колхоза доставят, публика рвет, не моргнув глазом, – ответил заведующий, перегибаясь через прилавок, точно ящерица.

Ну, вы, вероятно, по изысканному стилю уже догадались, что заведующий «ларьком» – единоутробный брат Вяльцева. Терентий – имя ему, да будет вам известно.

– Слов-то каких ты тут нахватался, – не то поощряя, не то критикуя, произнес Иннокентий Жук, о чем-то соображая.

– Здесь, в Приволжье, Иннокентий Савельевич, культурные слова вбиваются в нового человека, как репы в телячий хвост.

– А вот уж телячий-то хвост вовсе далек от культуры.

– Для, так сказать, ассоциации.

– Эко брякнул! А кто продукты рвет? Городские, что ли?

– Не только. Извольте знать, колхозники. Колхозники и рвут. Из деревень прутся.

«Прутся? Колхозники? У нас не прутся, а у них прутся. Куда? Зачем? – так думал Иннокентий Жук, дожидаясь приема у командующего округом и тревожась, что генерал, выслушав, посмеется над ним, а то и хуже – шугнет. – Ну, шугнуть-то я не дамся».

А командующий, уловив смысл из путаных слов Иннокентия Жука, который на этот раз прикинулся «темным», даже с облегчением сказал:

– Дорогой Иннокентий Савельевич, да вы прямо-таки выручаете нас: второй год на складе лежит оборудование для галетной фабрики. Первокласное – сплошной конвейер. Только и видишь, когда муку засыпаешь в квашню, а что там дальше колдуют машины, не видать. Только уж на другом конце конвейера – аккуратно уложенные в ящики галеты. Мы предлагали все это колхозам. Отказываются. Куда, говорят, нам фабрику! И по уставу не положено и велика. Просто в квашне бы, а то...

«Э! А генерал-то простоват. Воин отличный, а в коммерции простоват», – молниеносно определив характер генерала, подумал Иннокентий Жук и повел свою линию, говоря:

– Галетная фабрика, конечно, – тяжеловатое мероприятие для колхоза, почти обуза. Только сознание советского гражданина – армии надо помогать, не считаясь с обузой...

– Вот именно, армия наша – страж революции, – подхватил генерал, не уловив хитринки в голосе председателя колхоза, а тот все так же растерянно продолжал:

– Оборудование есть, половина дела сделана. Но ведь под него стены нужны... а у нас в степи каждое бревно золоту равно, вот ведь оно чего. – И лицо Иннокентия Жука сделалось придурковатым.

– Зачем же из бревен? Из кирпича стройте! – посоветовал генерал, уже пугаясь, как бы и этот председатель не отказался принять оборудование галетной фабрики. Генералу ведь приказано было заготовить сто тысяч тонн галет... и в этом же году. Не заготовишь – выговор получишь. А тут, куда ни сунешься, отказ. Генерал же привык, как вояка, не уговаривать, а приказывать. Уговаривать вот таких, как Иннокентий Жук, ему нож острый. Да и то: этому Жуку предлагают первокласное оборудование, а он чего-то пыхтит.

Подметив нетерпение генерала, Иннокентий Жук намеренно стал отступать все дальше и дальше: вздыхал, крутил головой, чесал за ухом или тупо глядел в угол генеральского кабинета, а сам в то же время «соображал»:

«Высокотехническое оборудование – здорово! Но как его перевезти? Наши грузовики в хозяйстве заняты. Или тот же кирпич. Из города его доставить надо. Год провозимся. А у нас под боком своя глина. Вот если бы генерал помог нам добыть оборудование для кирпичного

заводика. Какой-то обалдуй из министерства запретил производить в колхозах кирпич кустарным способом. А тут: «Не мы, товарищ Обалдуй, производим, а военные». Под этой вывеской и себе бы миллиончик-другой кирпича оторвали».

– Ну как, по рукам, что ли, Иннокентий Савельевич? Разопьем бутылочку коньяку... а то и русской? А? Русской, конечно, – уверенно подвел черту генерал.

Иннокентий встрепенулся.

– По рукам-то по рукам, да как бы нам колхозники не надавали по шеям – вот вопрос доподлинного значения. Советуете из кирпича строить? Его надо доставать в городе – от нас двести верст по сухопутью. И загвоздка: возить не на чем.

Генерал сначала вскипел и готов был сказать: «А ну, ступай в другое место, поищи то, что тебе тут дают», – но, всмотревшись в плаксиво-растерянное лицо председателя колхоза и сообразив, кто перед ним, мысленно произнес: «Хитер. Люблю таких! Этот через соломинку на дороге и то не перешагнет: подберет – и в хозяйство».

Вот почему генерал уверенно произнес:

– Поможем. Дадим машины.

«Эге!» – мелькнуло у Иннокентия Жука, но он продолжал так же вяло и раздумчиво:

– А во-вторых, дорогонек городской кирпич. Благодать большую проявили бы вы, товарищ генерал, ежели бы помогли нам оборудованьице...

Одним словом, Иннокентий, кроме оборудования для галетной фабрики (и почти задарма), «выколотил» еще старое оборудование для кирпичного завода, что «валялось» на военном складе. Затем, чтобы ускорить выпуск галет, в чем был крайне заинтересован командующий военным округом, генерал уже сам предложил председателю колхоза роту солдат, монтажников, два десятка машин для перевозки оборудования и даже сказал:

– Перевозку, Иннокентий Савельевич, возьму на себя. Да и кирпичишек на первый случай подброшу: мы ведь строим военный городок и кирпич выпускаем сами. Сто тысяч выделим... бесплатно, как шефы. Для нас это горсть семечек!

И в течение двух-трех месяцев при помощи доброго генерала была воздвигнута галетная фабрика, а при ней мукомольная мельница и на отлете – небольшой кирпичный завод. Как только все это приплюсовалось к гребешковой фабрике и мойке, хозяйство колхоза «Гигант» превратилось в своеобразный промышленно-сельскохозяйственный комбинат.

Но тут-то Мороженный бык и стал нажимать с особой силой:

– Запрещено кирпич в колхозах производить. Ох, тоскует по тебе, товарищ Жук, особая камера в тюрьме!

– А к чему на мою голову камера? Кирпич вырабатываем по приказу командующего военным округом товарища генерала армии... а он вот-вот и маршал, – для устрашения подчеркивал Иннокентий Жук. – Вы ему и скажите: «Ох, товарищ генерал армии, почти маршал, тоскует по тебе особая камера в тюрьме!»

– Но ведь вы кирпич и для себя вырабатываете. Вон сколько домов на улице появилось из кирпича. И коровий городок заложили, – наседали Мороженный бык.

– Э! А где это вы встретите такого дурака: готовит обильный стол для других, а сам голодный! Умный урвет со стола. Мы не вислоухие поросята.

– Но ведь кирпичный завод принадлежит колхозу!

– А кому же он должен принадлежать? Спекулянту, что ли? Командующий военным округом – товарищ шеф – завод нам подарил, и мы его, как люди вежливые, приняли. Нельзя ведь отказом обижать шефа.

– Ну а мойка, гребешки, мукомольная мельница, травы там всякие и черт те что? Доярки лекарственные травы собирают? Инициатива? Этак-то, глядя на вас, и другие колхозы на такое кинутся и запустят сельское хозяйство, – упрямо и монотонно гудел Мороженный бык.

– Тюрьмой грозите? Ай-яй-яй! Страх! Так я сегодня созову общее собрание колхозников и вам слово предоставляю. Может, убедите колхозников, и они нам – их слугам – прикажут на галетной фабрике, на кирпичном заводе, на мойке крест поставить, гребешки, расчески и все прочее к шутам. Хотите – созову и вам слово предоставляю? Только не советую: колхозники у нас – народ откровенный, как бы грубенько не вытолкнули вас из клуба!

Вот уж как заговорил Иннокентий Жук с Мороженым быком, да и со всеми, кто продолжал на него наседать: знал, колхозники взбунтуются, если перед ними заикнутся о том, что надо разрушить уже окрепшую систему хозяйства.

В том, что колхозники его полностью поддержат, Иннокентий Жук был уверен, однако начал стремительно худеть. Щеки всосались, нос отвис, в голосе появилось старческое дребезжание, а виски засеребрились. Райпрокурор Золотухин на основании материала, собранного Мороженым быком, завел толстое «дело» на Иннокентия Савельевича Жука, как на злостного нарушителя «всех и всяческих норм и уставов», что сулило обвиняемому самое меньшее десять лет тюрьмы.

– Ничего не украл, в личных интересах крошки колхозной не тронул, и вот – тюрьма, – при встрече пожаловался Иннокентий Жук Мордвинову – секретарю обкома по сельскому хозяйству, но тот, моргнув тускло-пустыми, как гороховый кисель, глазами, пригрозил:

– Кулацкие-то приемчики из вас вытряхнут!

После этого Иннокентий Жук хотел было зайти к первому секретарю обкома Акиму Петровичу Мореву и не зашел, подумав: «Наверное, в одну дуду дудят. Линия. Попал я, значит, под ситуацию».

И «дело» за номером 302 уже завершалось и готовилось из комнаты райпрокурора переправиться в соседнюю – к народному судье, как вдруг от Акима Морева на имя секретаря райкома Лагутина поступила телеграмма: «Прекратите травлю Иннокентия Савельевича Жука». А через два дня было опубликовано решение Пленума Центрального Комитета партии, по которому колхозам предоставлялось полное право самостоятельно вершить внутренние вопросы, а кроме того, строить свои кирпичные заводы, мастерские и вообще обзаводиться кустарной промышленностью.

– Мудрейшее указание: из жизненного сердца идет оно, – произнес Иннокентий Жук, почти наизусть заучив решение Пленума, и облегченно вздохнул, а соседи – руководители колхозов – с завистью:

– Ай-яй-яй! Думали, под суд пойдет и по всем нарушениям – в тюрьму, а он, оказывается, вершил самые незаконнейшие дела.

5

Умываясь на кухне и припоминая всю предысторию колхоза, Иннокентий Жук, довольный, хохотнул. Недавно секретарь Центрального Комитета партии в докладе о сельском хозяйстве по-доброму отметил:

– В колхозе «Гигант» председатель его, Иннокентий Савельевич Жук, работает с огоньком.

– Приятно?

– Да, конечно.

– «Колхозный Пленум» открыл перед нами просторный путь, и мы по нему зашагаем в коммунизм... и колхоз наш станет непобедимой твердыней, и слава о нем... и обо мне, конечно, не померкнет никогда, – прошептал, расчувствовавшись, Иннокентий Жук.

– Чего это ты там шепчешь, Иннокентий? Иди завтракать, – войдя со двора на кухню и ставя на стол крынку с молоком и холодную баранину, проговорила жена Катя еще заспанным и оттого, видимо, грудным, манящим голосом.

– Шепчу и шепчу. А что? – спросил он, пугаясь, что Катя уловила смысл его слов.

Ведь об этом не только шептать, но и думать нельзя. Сейчас же накинута. Тот же Назаров скажет: «Зазнался, эгоизм проявляешь! Тебя следует в партийной баньке лошадиной щеткой протереть». Выходит, нельзя говорить о том, ради чего и живет Иннокентий Жук. Ему хорошо, на душе приятно: трудности переломили, колхоз вывели на дорогу изобилия. Победили, и молчи об этом! Почему?

– Да чего-то не разобрала... слава не померкнет, – напомнила Катя.

– А? Песню вспомнил... партизанскую, – увильнул он, подвигая к себе крынку с молоком и глядя на жену, которая словно купалась в лучах солнца, льющихся через окно в кухню.

Она в юбке, но без кофточки. Оголенные плечи у нее не жирные, но пышные, женственные, груди небольшие. Их видно через тонкую сорочку. Они приподнятые, упругие, почти девичьи. И талия у Кати почти такая же, какой была в первый год замужества. Да и вся она красивая. Вон шея точеная. На лице румянец. Ни одной морщинки. Хотя ей сорок. Любить бы такую жену: ведь не только красивая, но и умная, лучший помощник и советчик в делах.

И однако у Иннокентия Жука в сердце пустота... Появилось это ощущение недавно, когда Мария Кондратьевна сообщила ему:

– Катя не способна на роды, Иннокентий Савельевич. Не надейся.

Да, а он все ждал, вот-вот и в их доме закричит сын или дочка.

«Ну, что теперь? Умру, скажут: “Был”. А так говорили бы: “Чей это сын?” Или “Чья это дочка?” – “Да Иннокентия Жука”».

И не хочет ее с тех пор Иннокентий. Ссылается: устал, замотался. А чего уж там устал, замотался! Уверь: будь сын или дочка, тут же, в этой солнечной колыбели... Нет. Все надежды потеряны... вот и пусто. В одном уголке на сердце пусто у Иннокентия... и опять об этом никому не скажи: просмеют...

6

Быстро выпив крынку молока, съев баранину и хлеб (он не любил съедобное оставлять на столе), председатель колхоза вышел из домика, вскочил в седло. Рыжик затанцевал, делая круги.

– Шалишь, Рыжик!

Иноходец сорвался с места и, чуть вздрагивая, понесся туда, куда его направлял хозяин каждое утро, – на галетную фабрику.

Вон завиднелось огромное – по разломовским масштабам – двухэтажное кирпичное здание, пламенеющее на солнце. Далеко видна вывеска со словами: «Галетная фабрика колхоза “Гигант”». Перед фабрикой цветники. К самой фабрике тянется дорога, устланная кирпичом, поставленным на ребро.

Из высокой трубы валит черный, густой, смолянистый дым. Это очень красиво, особенно сегодня, на фоне синего неба. Но Иннокентий знает, что когда из трубы валит такая густота – плохо: истопник кинул в котел лишнего торфа.

Председатель колхоза каждое утро проезжал на Рыжике мимо галетной фабрики просто так, полюбоваться. И сегодня он ехал мимо так себе, полюбоваться. Фабрикой руководит его жена Катя, на этом основании он даже не вмешивается во внутренние дела галетной: над ней шефствует Вяльцев... Но, увидав дымовую завесу, расплзающуюся по синему небу, предколхоза вздыбился, точно кот, даже глаза – и те у него позеленели. Подлетев к тамбуру котельной, он заколотил по карнизу ручкой плетки.

– Федор! Вылазь!

Из котельной показалось сначала перепуганное лицо, а на нем – немигающие, как у куклы, глаза, затем – грудь, и вот истопник уже весь, полностью, стоит перед председателем колхоза, не понимая, почему тот бранится. Белены, что ли, объелся?

– Дым за твой счет или за счет Бога-Христа, его мать? – процедил Иннокентий Жук, тыча плеткой в направлении верхушки трубы, из которой в эту минуту дым повалил еще гуще, извиваясь клубами.

То, что Иннокентий Жук чрезмерно скуп, знали все. Но он был скуп не только по отношению к другим, но и к самому себе. Например, вместо шикарных блокнотов носил с собой толстую тетрадь, в которую и записывал «все набегающие мысли».

Однажды ему сказала секретарша:

– Иннокентий Савельевич, что это у вас тетрадишка какая? Неприлично до сраму. Я выпишу блокнот. Есть шикарные... Например, у директора Степного совхоза Любченко. Тот весь в шикарных блокнотах... тут торчит, там торчит. Красота!

Он весь шикарный, Любченко. Это только за ним и водится. А нам такая шикарность не к лицу: дорого. По вместимости эта тетрадка равна пяти блокнотам. Каждый блокнот десять рублей, значит, пятьдесят целковых. Выгода – сорок пять. А глупые мысли не поумнеют, хоть золотом их обложи. Умные на клочке бумаги долго жить будут, – поучительно ответил председатель колхоза.

– Сорок пять! – воскликнула секретарша. – Какая мелочь! У колхоза в банке миллионы лежат, а председатель над рублем дрожит.

– Ши! – шикнул на нее предколхоза. – О миллионах молчок. Не ты клала. А дрожать мы обязаны не только над рублем, но и над копейкой.

А тут торф на ветер. Люди копают его, порою утопая по грудь в холодной воде, затем, превратив в крошку, везут на галетную фабрику, а истопник пускает торф на ветер.

– Почему молчишь? – яростно спросил Иннокентий Жук истопника.

– Заплачу, – еле выдавил из себя Федор. – Всего-то ведь полтонны я лишнего сыпанул, а оно вон чего, все небо измазало. И отчего это так, всего лишку полтонны, а диво – грязь по небушке, даже батюшко-солнышко затуманивает... – бормотал истопник, стараясь отвести от себя гнев предколхоза.

А тот уже спокойно:

– За торф уплатишь... и в десятикратном размере. А кроме того, мы займемся выращиванием в тебе стыда. Так бросать торф на ветер мастер тот, у кого нет ни стыда ни совести. Завтра вечером загляни в клуб: ребята твой портретик отпечатают «На бойком месте».

Федор знал, что в стенгазете есть страница под названием «На бойком месте», где зло протаскивают нарушителей: изображают их в карикатуре и такие клички пристегивают, что они остаются за нарушителями на всю жизнь.

– Не надо, Иннокентий Савельевич, – вдруг плаксиво заговорил истопник.

Но Иннокентий Жук на степном иноходце уже направился в сторону коровьего городка.

Коровий городок строился, отступя от села, в степи, на берегу водоема, по проекту, разработанному отделением Академии наук и одобренному академиком Иваном Евдокимовичем Бахаревым.

Помещения для скота примерно на тысячу голов, родильный, доильный залы, телятники, маслобойный завод, силосные башни, домики для доярок, телятниц, даже забор – все, все воздвигалось из пламенеющего красного кирпича местной выработки.

К осени, в этом Иннокентий уверен, городок будет закончен, и тогда они, с общего согласия колхозников, отбракуют коров, затем прикупят улучшенную местную породу, типа бестужевки (ну, потревожат какой-нибудь миллиончик рублей в банке), поставят коров на стойловое хозяйство и по добыче молока сразу прыгнут вперед, да так, чтобы всем колхозам области крикнуть:

– Эй! Догоняй нас!

Но тут-то и начала забираться в сердце Иннокентия тревога. Всегда вот так: проснется, позавтракает, выедет на Рыжике – радуется успехам в хозяйстве, даже тихо похохатывает, но чем выше поднимается солнышко, тем круче тревога на душе предколхоза.

Нужны электромоторы для коровьего городка: корм подавать, воду, нужны и на маслобойный завод. Уверяли, их легко в городе приобрести: «Чай, у нас сплошная электрификация». А Иннокентий Жук все пороги областных учреждений обил – и попусту. Наконец разузнал, что на одном ликвидируемом заводике валяются в сарае электромоторы. Осмотрел. Подходящие. Облегченно вздохнул – и к директору.

– Продайте нам, колхозу.

– Не могу: они списаны на утильсырьё.

– А вы нам вроде утильсырья.

– Не закон: существует организация «Утильсырьё».

Бился, бился. Все в ход пустил, всю свою мужицкую дипломатию: слезу, запугивание – не берет ликвидного директора. Вышел от него Иннокентий Жук и кулаки сжал. Тут и подвернулся завхоз. Ведь они какие, завхозы? Когда его надо, то днем с огнем не отыщешь, а когда ты ему нужен, он словно из-под земли выскочит. Вот сейчас вывернулся откуда-то и шепотком на ухо предколхоза:

– За перепрыг дай.

– Это что за перепрыг?

– Чтобы через «Утильсырьё» перепрыгнуть. И моторчики – вам.

– Взятку, значит?

– Грубо, дорогой товарищ. Взятки не берем. – И завхоз мигом скрылся, будто испарился.

А моторы нужны: шестьсот тысяч потратили на коровники, все электрифицировали, а моторов нет. Скандал, стыд перед колхозниками... Эта печаль сразу же начала глотать Иннокентия, едва он въехал на территорию коровьего городка.

И вдруг на повороте, около коробки доильного зала, предколхоза увидел такую картину: спиной к нему стоит Мария Ивановна и строго выговаривает бригадиру каменщиков Василию Пряхину, брату Егора Пряхина, за то, что тот при кладке доильного помещения во внешнем оформлении «напорол отсебятину».

– Неужели вы не понимаете, что своими «звездами» и «колосями» нарушаете общий план? Говорить с вами с глазу на глаз больше не буду. Не исправитесь, позову на правление, – твердила Мария Ивановна.

Василий Пряхин росту, пожалуй, такого же, как и его брат Егор, но отличается от последнего тем, что переполнен жирком. Этот жирок желтовато светится всюду: на шее, щеках, как у откормленного годовалого поросенка.

Сейчас Василий Пряхин стоял, небрежно распустившись, и в упор, нахально смотрел на Марию Ивановну, говоря глазами: «Чего рыпаться? Захочу – мигом моя будешь».

«Вот сволочь!» – почему-то впервые обругал Василия Иннокентий Жук. Может быть, потому, что Мария Ивановна его заместитель и Василий своим циничным отношением к ней оскорбляет и его, председателя колхоза? Ну да, поэтому. И он гневно громыхнул басом:

– Василий! Ты чего раскорячился?

– А что? – восторженно вскрикнул Василий, и жирок с него стал стекать, будто тесто: образовались щечки, мешки под глазами, даже шея, и та книзу набухла.

– С тобой говорит мой заместитель, лицо избранное, облеченное доверием всех колхозников, а ты корячишься, черт бы тебя сожрал с потрохами!

Мария Ивановна повернулась к председателю, и в этот миг под платьем так резко выделилось ее красивое бедро и нога, что у Иннокентия Жука мелькнула мысль: «Мать-то какая дремлет!»

У Марии Ивановны неожиданно в глазах вспыхнул женский призыв, и Иннокентий Жук понял, почему он прикрикнул на Василия: в пустом уголке сердца ворохнулось то радостное, что, видимо, давно копилось.

Этого не ждала Катя. Она верила словам мужа: «Устал, измотался» – и надеялась: отдохнет малость Иннокентий и утешит ее.

Глава третья

1

Бережно неся на сердце то теплое, что пробудилось в нем к Марии Ивановне, Иннокентий Жук со строительства коровьего городка заехал во двор при домике с вывеской «Мастерская костяных изделий». Ну, вы, конечно, понимаете, что такую надпись придумал Вяльцев. Что это такое: «Мастерская гребешков и расчесок»? Не кричит! А «Мастерская костяных изделий» – это уже горланит.

Здесь, во дворе, под навесом Иннокентий Жук увидел старушек, вырабатывающих гребешки и расчески всех видов.

Наклонясь к мастерице, Максим Максимович вопрошал:

– А? Чего? Не слышу.

«Все еще притворяется. Зачем?» – подумал Иннокентий Жук и громко поздоровался:

– Здравствуйте, наш драгоценный пролетариат!

Старушки медленно разогнули натруженные за долгие годы спины и весело ответили, уже зная эту шутку о пролетариате:

– Здравствуй, вождь тутошнего пролетариата.

И все весело рассмеялись.

– Чего не хватает вам, наши драгоценности? – уже серьезно спросил предколхоза, не слезая с коня.

– Меду... арбузного, – ответил Максим Максимович.

– Бочоночек прикатят. Еще что?

– Жара. Квасу.

– И это будет, Максим Максимович. Только обернись-ка. Все работницы смотрят: я, что ли, исцелил тебя от глухоты?

– А? Чего? Громче! Не слышу! – спохватившись, прокричал Максим Максимович.

Выехав со двора, предколхоза проворчал:

– Что это ты, Иннокентий, какой добрый стал? Бочоночек меду, бочоночек квасу – и задарма. Конечно, старушек мы уважить обязаны. Так ты и уважь, а колхозное добро не транжирь.

Подъехав к правлению колхоза, он крикнул в открытую дверь:

– Вяльцев! Прикажи, чтобы отправили в распоряжение Максима Максимовича бочоночек арбузного меду и бочоночек хлебного квасу.

В окне показалась взлохмаченная голова Вяльцева, затем по пояс и он сам с перекошенными на носу очками.

– Чего? Бочоночки меду, квасу? Кто это говорит? – в упор глядя на Иннокентия Жука, удивленно спросил Вяльцев.

– Я. Не видишь, что ли?

– Иннокентий Савельевич? Вижу, да не верю доброте такой.

– За мой счет... доброта.

– А! В таком разе хоть десять бочат отправим.

– Вот научил вас скупости на свою голову, – проворчал предколхоза и добавил: – Я к Егору Васильевичу. Ежели что, ищите меня там.

2

Одобрительно покачивая головой, посмеиваясь, Иннокентий Жук прошептал:

– Какие радетельные они у меня стали, тот же Вяльцев! – и направил коня с главной улицы на боковую... И тут им снова стала овладевай тревога, да такая, знаете ли, что лучше бы и не ведать ее.

В самом деле, что это такое?

В колхозе «Гигант» все на работе, а у некоторых соседей просто беда: уходят колхозники на новостройки, в областной город Приволжск и там «опустошают продуктовые магазины».

«Уходят. Ну а я-то тут при чем? Мы-то при чем? – размышлял Иннокентий Жук, направляя Рыжика по новой улице, где растут, красуясь красно-пламенным кирпичом, новенькие домики колхозников. – У нас строятся. А у них уходят в город. Отчего так? Конечно, из-за этого и нас потревожат. Аким Петрович Морев, наш секретарь обкома, скажет: «Помогай продуктами, Иннокентий Савельевич: дело-то общее». И правильно. Надо бы нам самим ринуться на помощь. Но к чему лезть наперед? Эдак одному помогай, другому помогай, сам и останешься голеньким, как очищенная рыбешка-плотвишка. Погодим, посмотрим, увидим. Не горит. Да что это ты так судишь, Иннокентий? Горит, не горит. Тебе, что же, пожар нужен? Государственная беда – наша беда».

Рассуждая так, Иннокентий Жук вошел в дом Егора Пряхина, которого навещал почти ежедневно, всякий раз говоря:

– Силища-то какая в человеке. А бессильная. Видно, в нем жилка какая-то лопнула...

А сегодня, когда заиграл май и куры уже купаются в придорожной пыли, Иннокентий Жук с особой тревогой подумал: «Скоро июнь, затем июль, август, сентябрь, а там чабаны погонят овец на Черные земли. А Егор что ж? Так и будет нутром гнить? Ягненок умрет – и то жалко. А тут человек... Что это я глупость какую порю? Расправит крылья наш орел, Егорушка», – и, присев на табуретку, которая под ним крякнула, Иннокентий Жук только теперь впервые обратил внимание на внутренний вид хаты.

Все-то у Егора крупное, как и он, как и его ребята. Стены из толстых, аккуратно обтесанных сосновых бревен. Пазы основательно проконопачены скрученной паклей. Бревна от времени посинели и кажутся литыми из стали. Табуретки тоже массивные: такой вполне можно убить быка. А стол? Он на толстых ножках, ножки на концах выгнуты, будто копыта быка, и прибиты к полу гвоздями, очевидно для того, чтобы ребята не передвигали его: буйная орава! На стене три карточки. Две – портреты Егора и Клани, третья – групповая, вся семья: дочери, сыновья, а впереди два волкодава – любимцы, прошлой зимой погибшие в борьбе со стаей волков. Над кроватью длинный, толстый кнут – память об умершем отце-пастухе.

«Крепко ты все сколотил, Егор», – подумал Иннокентий Жук и снова посмотрел на больного. Зная любовь знатного чабана к сыновьям, предколхоза заговорил, пытаясь его расшевелить:

– Эх, Егор Васильевич! Ребят-то каких отпечатал: всех в себя! И капли от Клани не взял. – И до боли в душе позавидовал Егору: «Сыны понесут его дела, а я вот бобыль!»

Егор на призыв предколхоза не шелохнулся, не приоткрыл глаз, ни слова не вымолвил.

– Ты вот что, Кланыя. – Иннокентий Жук поднялся с табурета, сам похожий на табурет: такой же приземистый, на сильных, твердых ногах. – Ты вот что, Кланыя, влей в него литрочку горячего. Марию Кондратьевну слушай: она лепестками разными лечит – вреда от них нет. А к лепесткам-то все-таки литрочку добавь. Поднимется, верю. Не может такой человек прежде время с земли убраться. Не может. А вот с Аннушкой Арбузиной беда похлестче: свалилась Аннушка. Женщина, да еще на сносях, – сообщил он, хотя и знал, что это давно известно не только Клане, но и всему Разлому.

Выйдя из дома Егора Пряхина, Иннокентий Жук сразу почувствовал, как тревоги, большие и малые, о нуждах колхозного хозяйства снова стали полонить его.

Из седьмой отары сообщили: ягнята заболели воспалением легких.

«Дуботол чабан: с жары пригнал овец к колодцу, напоил студеной водой, вот и воспаление».

Надо принимать срочные меры. Иннокентий не счетовод. Тому что? Пало столько-то ягнят – записал. Появилось столько-то на свет – записал. Иннокентию Савельевичу положено срочно скакать на место происшествия, устранить беду.

Или вот пришло сообщение с Черных земель – на строительстве чабанных точек острая нужда в гвоздях.

А кроме того, завтра утром на берегу озера Аршань-Зельмень собираются на круг чабаны, больше ста человек, – это уж затея самого Иннокентия Жука.

– Затейть-то затеял, а какой пирог получится, не знаю, – шепчет он и садится рядом с шофером в грузовую машину, кузов которой уже загружен ящиками с гвоздями: надо ехать в седьмую отару, а оттуда на прокаленные солнцем, пустынные Черные земли.

Впервые Иннокентий тяжело вздохнул: хоть и на короткое время, но не хочется ему уезжать далеко от Марии Ивановны.

– Хороша! Что и говорить, хороша! – снова прошептал он.

Проезжая мимо, взглянул на домик Анны Арбузиной.

Несмотря на то что солнце уже близко к обеду, домик, казалось, еще дремал: на всех окнах задернуты белые занавески. Но это лишь казалось. Разукрашенный причудливой резьбой, с петухом-флюгером на коньке, домик вовсе не дремал: в нем осела большая беда.

3

Представьте себе на минуточку: в течение двадцати лет растите вы сына, кладете на него все свои силы, все умение, отдаете ему всю любовь и наконец видите – сын крепко стоит на ногах, сильный, румянощекий, волосы на голове пышные, непослушные, глаза разумные и дерзкие... Он уже превосходный инженер, вот уже и женился, вот уже появился у него и сынишка... Замечательно! Теперь вы, родитель, можете передохнуть и жить без тревог и волнений: сын завоевал свое место в обществе. И вдруг: вышел ваш сын со двора завода и попал под трамвай...

Нечто такое же страшное обрушилось и на Анну Арбузину, жену академика Бахарева.

В течение пятнадцати лет она вместе со своими подругами выращивала сад в полупустыне. Пятнадцать лет. Ведь это половина сознательной жизни. Да как выращивала! Сколько вынесла насмешек, подковыриваний, а порою и открытых издевок! Даже в областной газете первое время писали: «В колхозе “Гигант” некая Анна Арбузина решила на каменной глыбе вырастить сад». Да и в самом деле, что такое полупустыня для плодового сада, как не каменная глыба? Земля тут твердая, как чугун. Воды нет. А летом солнце так накаливает землю, что на нее не ступишь босой ногой.

И вот заявился в колхоз некто Василий Чуркин, родственник Анны, человек какой-то вихрастый, горячий поклонник «обновления пустыни». Он несколько лет (думали, умер) пропадал где-то в глубине Черных земель, говорят, вырастил там тутовые деревья, затем с кем-то не поладил и вернулся в родной Разлом. Вернулся и, поблескивая колючими глазами, насел на Анну.

– Уж ежели решили тут с мужем век вековать, обновляй пустыню!

Анна, не грех теперь признаться, даже побаивалась Чуркина: порывистый, и глаза безумные. Поэтому она растерянно ответила:

– Да ведь обновляем... пшеницу по лиманам сеем, кукурузу садим. Небывалое заводим.

– Сад разведи.

– Да что ты, батюшка! Каждой яблоньке водичка нужна, как грудному ребенку молоко матери.

И все-таки она пошла за ним, за Чуркиным: он в долине, видимо, в русле какой-то высохшей древней реки, окаймленной пологими, пустыми берегами, откопал подземный ручеек, построил плотину, и когда в пруду собралась вода, привел сюда Анну и сказал:

– Вот рай земной, сажай тут.

Сказал и опять куда-то скрылся.

И сад вырос на площадке в десять гектаров – масштабность в духе Иннокентия Жука. Яблони, груши тянулись рядами, будто на параде. В весну стволы яблонь наливались такой желтизной, что, казалось, они созданы из пчелиного воска, а к осени ветви никли к земле: на них гнездами висели плоды всех сортов и такого запаха, какой встретишь разве только в Крыму. И каждой яблоне, каждой груше Анна дала название: «красавица», «горбунька», «разлетайка», «барышня», «комиссарша». А сам сад не только Анна, но и вся бригада называла «сыночком».

– Сыночек! Здравствуй! – так каждое утро здоровалась с садом Анна.

О «сыночке» заговорили в печати, в той же областной газете, о нем узнали в Академии наук, но там называли его не «сыночком», а «Аннушкиным садом». Да, сад приносил не только большую материальную поддержку, но и стал гордостью всего колхоза. В споре с соседями, с приезжими горожанами о способах благоустройства колхозного хозяйства разломовцы под конец всегда пускали в ход такой довод:

– А у нас Аннушкин сад, – и тем нечем было крыть.

Так гордились колхозники. Но ведь у Анны с садом связана не только общественная, но и вся ее личная судьба, и потому, когда с садом стряслась беда, Анна переживала ее еще тяжелее даже, чем Егор Пряхин свою беду. Тот сгорал от стыда перед колхозниками, но был уверен, что Кланы примет его «в любом состоянии». А вот «примет» ли без сада Анну академик Иван Евдокимович Бахарев? Анна не знала. Она великолепно понимала, что академик стал ее законным мужем и отцом будущего ребенка не только потому, что ему «на сердце пала красивая вдовушка», а и потому, что эта вдовушка смогла вырастить такой сад. И где?! В пустыне, на земле жесткой, как камень, при свирепых ветрах, что коня с ног валят, при резких морозах и при солнце, накаливающем степи до восьмидесяти градусов.

– На такой земле впору блины печь, – говорят чабаны.

Аннушкин сад еще и еще раз подтвердил убеждение Ивана Евдокимовича, что полупустынные степи Нижнего Поволжья, «этот предысточник суховея, ворота всепожирающей жары, идущей из Среднеазиатской пустыни», можно облагородить и должно облагородить, «иначе Кара-Кумы окончательно осядут в Поволжье». Так писал в своей статье академик и призывал ученых – агрономов, лесоводов, химиков – «выехать на передовую линию огня, если вы на самом деле бойцы, а не оловянные солдатики». И многие ученые действительно выехали вместе с Иваном Евдокимовичем из Москвы: на берегу искусственного озера Аршань-Зельмень основано отделение Академии наук.

В своих задушевных беседах с Анной академик не раз откровенно говорил:

– Ты, Аннушка, сыграла роль последнего толчка в моем решении переехать на передовую линию огня. Конечно, я полюбил тебя еще тогда, в прошлую осень, когда впервые увидел на пароходе... И полюбил, конечно, не просто красивую бабу... В глазах твоих светились гордость, достоинство, ум. Да, ум. Я колебался еще тогда, порывать или не порывать с Москвой. А увидав тебя, подумал: простые люди уже облагораживают степи, сады в них выращивают, а мы, ученые, все еще спорим в Москве... о проблемах... И твоя чаша весов перевесила. Среди моих теоретических противников есть и такие пошляки, которые вмиг загорланили: «Бахарев влюбился в красивую вдовушку, потому и укатил в полупустыню, к бабе на кровать». Нет! И к тебе, Аннушка, но и к твоему саду, к великому делу рук и ума твоего.

И по-хорошему хвастался, ощупывая на себе мускулы:

– Смотри, около тебя в степи какой я стал – твердый. А там, в Москве, рыхлость одолевала.

И вот сад был неожиданно порушен...

В марте же месяце, когда под броней льда погибла отара Егора Пряхина, лед обрушился и на Аннушкин сад. Сначала сучья плодовых деревьев покрыла, как замазка, студеная изморозь. Она сыпалась беспрестанно в течение дня и ни у кого не вызывала даже незначительной тревоги. Ну, сыплет и сыплет. Шут с ней. Но на следующий день ударил мороз, и кашица изморози вдруг превратилась в лед. Под тяжестью этой ледяной брони стали отламываться сучья, и к вечеру на месте Аннушкиного сада торчали как попало заостренные стволы деревьев.

На все это смотреть было так же тяжело, как на поле, заваленное трупами убитых. Но еще тяжелее смотреть на такое поле матери, когда она тут же видит и своих сыновей. Так смотрела и Анна на порушенный сад: пятнадцать лет труда, принесшего и ей и ее бригаде народную славу, рухнули в течение двух дней.

И Анна слегла.

Она слегла не сразу: недели две бродила по комнатам, по двору, совалась то в курятник, то на погребницу, погруженная в такое глубокое раздумье, как будто потеряла самое главное, самое важное и не знала, где искать. На обращения к ней соседей отвечала глазами: «Не тревожьте меня». А на вопросы Ивана Евдокимовича отзывалась строго, даже грубо.

– Что с тобой, Аннушка? – спрашивал он.

– Плясать, что ль, мне? – И только однажды сказала: – Баба осталась.

– Баба? Что за баба?

Она некоторое время думала, затем еле слышно добавила:

– Знаю, не пустая баба тебе была нужна, а с приданым.

– Это еще что?

– Приданое мое – сад. Его нет, и ты отвернешься, – и вдруг, побелев, упала навзничь, словно кто с тычка ударил ее кулаком в лоб.

Иван Евдокимович понял: страдание, принесенное гибелью сада, боязнь, что теперь он покинет ее, – все это вместе и свалило Анну.

– Аннушка! Глупенькая! Ведь духовный-то сад остался в тебе, – растерянно говорил он, сидя у ее постели.

Анна смотрела пустыми глазами куда-то в потолок, временами что-то шептала или отчаянно, испуганно вскрикивала, точно ее толкали с обрыва.

А к вечеру температура подскочила до сорока, и Анна заметалась, взмахивая руками и тяжело дыша, будто стремилась вынырнуть со дна глубокой реки. Тело у нее горело, даже блуждающие глаза – и те, казалось, охвачены пламенем.

Мария Кондратьевна определила:

– Малярия, да еще тропическая. Болела ею Анна в прошлом году. Тогда хиной отходили. А теперь? – И положила руку на вздутый живот Анны, в котором жил и развивался плод. – Душевное потрясение ослабило организм, и враг – микроб тропической малярии – заработал.

Вот это Мария Кондратьевна сказала академику и стала продумывать, чем и как лечить:

– Хина? Сальварсан? А ребенок? Без него, конечно, сальварсан, конечно, хина, даже синька. А как быть, чтобы и больную вылечить и ребенку не повредить? – И Мария Кондратьевна приступила к лечению, осторожно комбинируя лекарства и больше надеясь на крепкие физические силы больной, чем на свои снадобья.

И началось что-то страшное: тропическая малярия, не отпуская Анну, терзала ее подряд день, два, три, затем, как насытившийся зверь, стихала и снова кидалась.

Иван Евдокимович не отходил от жены, тревожась за исход болезни. Он за это время исхудал, постарел: нос вытянулся, глаза стали больше, а мочки ушей отвисли.

Ежедневно в домик тихо, сняв обувь в сенцах, входили колхозницы – подружки Анны. Они задерживались на кухне, шепотом спрашивали о здоровье Анны Петровны и, посоветовав каждая свой способ лечения, уходили, сокрушенно опустив головы. Два-три раза в день заезжала Мария Кондратьевна и выкладывала на стол новые порошки, новые микстуры. Ее наставления о том, как их надо давать больной – в какое время и поскольку, – Иван Евдокимович выслушивал будто и внимательно, но, проводив Марию Кондратьевну, убирал микстуры и порошки на подоконник и прикрывал простыней.

Иногда он думал: «Хоть бы заплакать! Говорят, плач – разрядка». Но слез не было, и порою у него в глазах чернело от душевной боли. «Вот, еще ослепну!» – Он с силой встряхивался и снова смотрел на разметавшуюся на постели Анну.

Даже теперь, в эти дни, Анна была красива: от ее сильного тела, вот от этих высвободившихся из-под одеяла рук, мускулистых и в то же время женственных, от ее лица, пылающего румянцем, от загорелого высокого лба, от густых каштановых волос – от всего веяло красотой. Временами она сбрасывала с себя одеяло, будто оно давило, и тогда обнажались ее ноги, тоже мускулистые и в то же время женственные, а на животе, прикрытом ночной рубашкой, появлялись выпуклости, – то тут, то там: внутри матери развивался плод.

– Он живет, значит, живет и мать! – шептал Иван Евдокимович.

И любил он теперь Анну еще сильнее, нежели в первые дни встречи. Тогда у него вспыхнула непреодолимая тяга к ней, ныне к этой тяге присоединились еще и отцовская нежность, бережливость, ласка, а главное, они во всем были вместе: во взглядах, в устремлениях, в работе. То, что делал Иван Евдокимович, было родным, близким и для Анны, а то, что делала Анна, глубоко интересовало Ивана Евдокимовича. И все это теперь могло рухнуть, как рухнул сад, сваливший Анну.

Сегодня, сидя у постели больной и думая так, Иван Евдокимович и не заметил, как в комнату вошла Мария Кондратьевна.

– Давали вы ей порошки, те, что я утром принесла? – спросила она.

Он машинально ответил:

– Да. Да. А как же!

– И микстуру?

– Да. Да. А как же!

Она подошла к окну, приподняла простыню и ахнула:

– Все не тронуто! Вы это что же?

– Ему может повредить, – ответил он, умоляюще глядя на врача.

Мария Кондратьевна внимательно посмотрела на академика, думая: «Не тронулся ли?» – и произнесла:

– Вы хотите сказать: «ей»?

– Нет. Ему. – И Иван Евдокимович кивком головы указал на живот Анны.

– Ребенку? А вы ее-то жалеете? Ведь без нее и ребенку не быть. Нет, я лечить больше не буду. По несколько раз в день таскаюсь сюда, а он простыней все прикрыл! – И Мария Кондратьевна в гневе покинула домик.

– Самой нужно в санаторий! – крикнул ей вслед Иван Евдокимович и на простыню положил еще подушку.

4

Иван Евдокимович не из тех, кто при первой же, даже значительной беде впадает в уныние, растерянность. Нет, он не такой: горести, невзгоды и беды только взвинчивали его, заставляли много и с еще большей энергией работать. Даже смерть первой жены, с которой он про-

жил около тридцати лет, даже то, что сын стал алкоголиком, даже критика, с которой порою обрушивались на него в печати, – ничто не могло оторвать Ивана Евдокимовича от дел.

А дел здесь, в полупустыне, оказалось куда больше, нежели там, в Москве. Неподалеку от озера Аршань-Зельмень, где расположилось отделение Академии наук, заложен лесопитомник. Замечательный! И это в то время, когда «ура-лесоводы» с лесопосадкой в степях прогнали: вместо дуба у них растет трин-трава.

– На ура хотели взять, вот и лопнули! – горестно смеясь, говорил академик. – А вы вот что, – настойчиво советовал он работникам отделения Академии наук. – Опыты в лабораториях ведете – это полезно... Но окунитесь и в жизнь. В совхозе имени Чапаева мастера без нас с вами вывели новую породу коров – устойчивую, молочную и в то же время мясную. Там две женщины творят огромное дело – Марьям, дочь чабана, и Наталья Михайловна Коврова. Поезжайте-ка к ним. Присмотритесь и, если понадобится, своими знаниями помогите им, а одновременно и сами поучитесь у них. Егор Васильевич Пряхин самостийно вывел породу овец, дающих изобилие шерсти. Академию он не кончал. Поучитесь у него. Анна Петровна Арбузина вырастила сад. Займитесь ее садом – ума от народной мудрости наберитесь. Учитесь, учитесь у народа!

И академик развернул такую деятельность, что некоторые сотрудники в полушутку говорили:

– Пена с нас пошла.

Но вот отара Егора Пряхина погибла под броней льда, и одновременно эта же самая броня порушила Аннушкин сад, и оба они слегли... И академик сник, стал чрезмерно раздражителен. Может быть, потому, что беда настигла его на рубеже, за которым все уже катится под горку: ныне пятьдесят, потом стукнет шестьдесят и... готовь саван. Может быть, это, а может, другое. Одно он ясно чувствовал и понимал: никогда еще так полно никого не любил, как любит Анну.

«Все светилося по-другому: живешь, работаешь, и все хочется быть перед ней лучше, чтобы она радовалась, глядя на мои труды, на мои поступки, чтобы гордилась мною, – думает он, неотрывно всматриваясь в раскрасневшееся лицо жены, следя за ее дыханием. – И все это может... может...»

И академик, не в силах назвать то, что может случиться, поднялся со стула и стал расхаживать по комнате, мягко ступая. Затем приблизился к рабочему столу Анны, выдвинул ящик и достал толстую в черном переплете тетрадь. Этого он никогда не делал, но теперь ему нестерпимо захотелось хотя бы так побеседовать с женой.

Раскрыв тетрадь, он прочитал первую страницу, исписанную рукой Анны. Прочитал и вторую... и так с десяток страниц. Записи были еще робкие, довольно туманные, иногда в виде вопросов.

«Иван Евдокимович сегодня сказал мне, что имеется уже около тридцати тысяч видов пшеницы. А что такое вид? Сорт? Тридцать тысяч?»

В другом месте она записала: «Ванюша у меня хороший: не сердится, если я его даже о какой-нибудь глупости спрашиваю».

Иван Евдокимович приложил развернутую тетрадь к груди и, глядя на Анну, прошептал: – Спасибо, Аннушка!

Дальше запись шла уже более серьезная: «Живем, работаем, садим сад, сеем зерно, и кажется нам, просто сеем и сеем, садим и садим. А оказывается, как сегодня рассказал мне Иван Евдокимович, во всем есть свои законы. Нарушь этот закон – и провал. Закон природы – сила великая. Познаешь эти законы, и сам станешь силой».

– Правильно, Аннушка!.. Правильно, Анна Петровна! – вслух проговорил Иван Евдокимович, читая эти строки.

Но в конце тетради пошло другое: «Погиб сад, и мне вроде отрубили голову: черно свет глянул на меня...»

И опять сердце у Ивана Евдокимовича заныло. Он спрятал тетрадь в стол, подошел к Анне, положил руку на ее горячий лоб и прошептал:

– Что нам делать, Аннушка? Что делать? Ума не приложу! Груб я стал: Марии Кондратьевне нагрубил, Назарову...

Вчера Назаров, председатель Разломовского райисполкома, чтобы отвлечь Ивана Евдокимовича от горестей, да и похвастаться тем, как эти годы он, агроном Назаров, верный его ученик, «внедрял в колхозах района травопольную систему земледелия», преодолевая консервативное упрямство местных полеводов и председателей колхозов, особенно Иннокентия Жука, уговорил академика проехаться с ним.

Он не повез его по владениям колхоза «Гигант», с насмешкой заявив:

– В «Гиганте» смотреть нечего: ни системы, ни порядка там... Иннокентий-то Савельевич совсем от рук отбился, особенно после того, как о нем лестное слово сказал секретарь Центрального Комитета партии. Окончательно порушил гармоническую травопольную систему, и воцарилась полная неразбериха. Клевер из посевного клина выкинул, чередование – побоку, на поля стал возить торф, суперфосфат, сеет яровую да озимую пшеницу, а овсы, просо, подсолнух – все к едреной тетере. Дует себе по низинам и лиманам, – говорил Назаров, подражая «разломовскому» простонародному языку. Он знал, что этот язык очень нравится академику, и не замечал, как тот все время морщится, слыша его «к едреной тетере».

Назаров, как все упрямые люди, явно сгущал краски, нагоняя тень на Иннокентия Жука, который вместо клевера, овса и проса ввел обширный клин кукурузы, и она в первый же год дала колхозу обильный урожай початков и замечательный корм для скота. Назаров знал, что наперекор его желанию у Иннокентия Жука «на нынешний день все превосходно», и именно поэтому повез академика на поля соседних колхозов. Но, как ни крутился, все равно не миновал окрайки ярового поля колхоза «Гигант». Пшеница тут была густая, чернеющая в своей зелени и явно сильная. Академик обратил на нее внимание, но Назаров, желая унижить Иннокентия Жука, сказал:

– Суперфосфат сделал свое преступное дело. Анархизм в психике Иннокентия Савельевича укрепитесь теперь бесповоротно.

– Умный, – задумчиво, с какой-то затаенной скорбью сказал академик.

– Кто? – спросил Назаров, в душе уверенный, что похвала академика относится к нему, агроному Назарову.

– Иннокентий Савельевич, – все так же задумчиво вымолвил Иван Евдокимович.

«Семейная беда, видно, пошатнула академика», – решил Назаров и повез его в колхоз «Рассвет».

Здесь озимые вышли из-под снега хорошими, обещающими урожай: выпали майские обильные дожди, и влаги в земле накопилось много, потому пшеница стелилась на огромной площади, как зеленоватый бархат. Она уже раскинулась, покрыла землю сплошь и вот-вот пойдет в трубку, а там даст зерно. Яровые тоже выглядели неплохо. Но посеvy клевера напоминали остриженную голову в лишаих: куда ни глянь, сизоватые пятна. Да и сам клевер выглядел весьма убого.

– Зачем вы его вводите? – неожиданно для Назарова спросил Иван Евдокимович. – Укос он вам дает нищенский...

Назаров, худенький, особенно без пиджака, в голубой рубашке, забежал наперед Ивану Евдокимовичу и, удивленно глядя на него, проговорил:

– А как же, Иван Евдокимович? Без клевера нарушим травопольную систему.

– Вы ее уже нарушили. Клевер, как вам известно, должен подготовить соответствующую питательную среду для зерновых и дать обильный укос. Так ведь? А ваш клевер сам подох и почву, я уверен, изгадил. Да и зачем вам заниматься клевером? Вы житняк не убираете. Едешь на машине десять, двадцать километров, степь ровная, как стол... и стоит нескошенный, пере-

сохший житняк ростом в пояс человека. Сотни тысяч гектаров пропадают. Дескать, житняк что? Дикая трава. Но житняк по питательности почти не уступает клеверу и люцерне. Дикая трава! Ай, позор какой, дикую траву не убираем, а клевер сеем!

Назаров снова заглянул в глаза академику, более уверенно подумав: «Умом пошатнулся: агрономическую науку побоку», – и робко заговорил:

– Но, Иван Евдокимович... ведь вы сами учили нас... а теперь – к прадедам, значит, возвращайся?

– И возвращайся, раз жизнь диктует! – резко ответил академик. – Для внедрения травопольной системы здесь должны быть сначала созданы все условия: лесопосадки и в первую очередь вода. А пока?... Пока используй все возможности, чтобы хлеб был на столе у государства и на столе у колхозника. А у вас? Красивая система – и крохи на столе. Или вон – бугры распахали! – говорил он, показывая на распаханное в поле бугры, которые так выдуло ветрами, что склоны их оголились вплоть до белесоватого песка.

В это время в ряде мест поднялись черно-рыжие вихревые столбы пыли, похожие на морские смерчи, и побежали по степи, все ввинчиваясь и ввинчиваясь в яркое голубое небо.

– Вот результат вашей науки: бугры распахали, возвышенности распахали! – кивая на вихревые штопоры, уже гневно проговорил Иван Евдокимович.

Назаров, ожидавший похвал от академика, еще больше растерялся и пробормотал:

– Ну а озимые, яровые?

– Матушка-природа в этом году помогла вам. Но она такая: ныне поможет, а на следующий год пристукнет. Эх вы, победители природы! На травопольную систему надеетесь, как в былые времена верующие на Боженьку!

– Но ведь Вильямс... – заикнулся было Назаров.

– Что Вильямс? Он посмотрел бы на ваши поля и сказал: «Глупо! Я такой глупости никого не обучал».

– Что ж... создавали, создавали, а теперь порушить? – обидчиво проговорил Назаров.

– Рушить нечего. Все уже порушено. Я от Иннокентия Савельевича Жука узнал: за десять лет здесь только один раз собрали приличный урожай зерновых. Значит, не зря он порушил у себя вашу «гармонию»: умный! А вы в газете кричите: «Корова проголосовала за травопольную систему земледелия». Черта с два она будет голосовать за такой клевер! Отвернется от него, как от заразы. Присмотритесь к нашим посевам. Они у нас в низинах, лиманах... и урожай соберем куда лучше вашего. А вас надо за ушко да на солнышко: «Посмотрите, мол, вот так балаболка!» – Иван Евдокимович приподнял руку, сложив большой и указательный пальцы так, словно приподнял за ухо Назарова, затем круто повернулся к машине и вплоть до дома молчал, иногда лишь сокрушенно вздыхая.

А сейчас академик думал: «Зачем нагрубил Назарову? Ведь сложное это дело – освоение земель в полупустыне».

По существу-то и у самого Ивана Евдокимовича тоже рушились годами сложившиеся убеждения: их расшатала суровая практика. Пока он жил в Москве и яростно спорил со своими теоретическими противниками, его собственные умозаключения казались ему очень логичными, даже красивыми. В уме рисовалась травопольная система: введен клин трав, созданы водоемы, овраги и неудобные земли засажены лесом. Совершается логический круговорот. Но вот академик обосновался в полупустыне и увидел, что все красивое, так стройно разработанное в статьях и докладах, не так-то просто применить на практике. Но согласиться с этим – значило склонить повинную голову перед своими противниками, а противники-то все молодые, пришедшие в агрономию от земли.

5

Простившись с академиком, расвирепевший Назаров не вошел, а прямо-таки влетел в кабинет секретаря райкома, как влетает на стадион запоздавший яростный болельщик: потный, глаза навывкате, растрепан.

– Слушай... секретарь! – закричал он еще с порога и, посмотрев вокруг, спросил: – У тебя никого нет?

– Видишь, кроме тебя, никого, – как всегда, уравновешенно произнес Лагутин. Подергивая левой густой бровью и поводя желваками на выпуклых скулах, он внимательно всматривался в суетливого Назарова.

– Академик, по-моему, того... – И Назаров постучал себя по лбу пальцем.

– В чем же ты это усмотрел, товарищ психиатр? – насмешливо спросил Лагутин.

– Только что мы были в поле. Клевер долой! Зерновые долой! Науку долой! И бери в пример кавардак нашего любезного Иннокентия Жука!

Назаров и Лагутин оба были агрономы, только Назаров – полевод, а Лагутин – животновод; поэтому как-то само собой получилось, что Назаров взял шефство над полеводцами, а Лагутин – над животноводами, главным образом над чабанами. И сейчас, сидя за столом, секретарь райкома думал, как поднять на ноги Егора Пряхина. Отвлеченный от дум стремительным натиском Назарова, он откинулся на спинку стула, запрокидывая лицо с монгольскими скулами и чуть раскосыми черными глазами.

– Понимаешь, неладное творится с академиком. Тут у него! – И Назаров снова постучал пальцем себя по лбу.

– А может, это у тебя тут? – стуча по своему лбу карандашом, проговорил Лагутин.

– Ну, ты это брось! Мы же все перенимаем от Нижнедонского района. Там за двадцать лет поля вон какие стали: земля изменилась, климат изменился. Астафьев, он знает, как управлять землей. Вот секретарь так секретарь: не чета некоторым. На днях мне сказал: «Мы перестали кланяться земле и просить ее: «Матушка, уроди». Заставили землю служить нам и диктуем ей: «Давай зерно, давай мясо, давай овощи, фрукты».

– Астафьев водоемы имеет, милый мой! У Астафьева лесопосадки великолепные, милый мой! А у тебя? Степи. А в них девятиполье... Прислушайся, может, академик-то прав.

– Эх, ты!.. Ты! – гневно прокричал Назаров, видимо, намереваясь отпустить острое словцо, но перед ним сидел секретарь райкома. – Тебе бы только степи: овечек пасти. А недавно на Пленуме ЦК сказано: зерно государству нужно.

– И о другом сказано: мясо нужно, шерсть. А ты вместо зерна «логическую систему» государству преподносишь. Жук-то все-таки прав: изгнал эту выдумку с полей.

– Знаешь что? Я тебя по-товарищески предупреждаю: доиграешься ты со своим Жуком.

– Если уж доиграюсь, то грех буду делить пополам с секретарем Центрального Комитета партии: тот хвалит Жука.

Разгоряченный Назаров, безнадежно махнув рукой, выбежал из кабинета Лагутина. Из райисполкома он позвонил в отделение Академии наук – Шпагову, помощнику Ивана Евдокимовича, и рассказал ему обо всем, что сегодня произошло в поле:

– Постарайтесь же, наконец, оторвать академика от Аннушки. Не то такое натворит, что потом всем нам не расхлебать. Вишь ты, Вильямса не признает!

И в дело вмешался Шпагов, или Обтекаемый, как его и здесь все уже звали.

Бывают иногда у академиков помощники, которые как тень следуют за своими патронами. Шпагов другого склада: предприимчивый, хозяйственный, в его руках все крутится, вертится. Зная характер Ивана Евдокимовича, он умел подойти к нему. Недаром Шпагов хва-

стался друзьям: «Я к академику в любую минуту ключи подберу». И подбирал. Но за последнее время тот «отбился от рук».

Шпагов, несмотря на свои тридцать лет, был все еще холост, и тянули его к себе женщины «изящные», чего он желал и своему академику. А Иван Евдокимович избрал совсем не «изящную» Анну Арбузину. Шпагов, пустив в ход всю свою изобретательность, попытался было расстроить этот брак, открыто называя его пошлым. Но академик знал образ жизни Шпагова, знал и то, что подобные ему пошляки, дабы прикрыть собственное душевное гнильцо, все, что они не приемлют, всегда пытаются осквернить, опошлить, и поэтому, когда Шпагов попробовал иронически пошутить по адресу Аннушки, академик грубо оборвал его:

– Гляди у себя под носом!..

– Ах, ах! – после разговора с Назаровым воскликнул Шпагов, подражая Ивану Евдокимовичу: тот, находясь в глубокой задумчивости, всегда произносил: «Ах, ах!» – Дурень я! Не смог вовремя переубедить старика. Вот теперь и крутись: Арбузина с садочком провалилась, а академик нас проваливает. – Рассуждая так, он вызвал шофера и сказал: – В Степном совхозе работает сестра Анны... ну, этой... хозяйки нашего... Елена, – и он брезгливо покривил губы. – Слетай за ней и привези сюда... Ах, ах! – поахал он еще, уверенный, что Елена такая же, как и Анна, – «в телогрейке, на босу ногу», – и взялся за хозяйственные дела: ему было поручено закончить строительство городка отделения Академии наук.

Когда машина вернулась с фермы и остановилась у парадного, Шпагов, глянув в окно, снова брезгливо скривил губы, ожидая, что сейчас откроется дверка и на землю ступит «простоволосая» сестра Анны Арбузиной.

– Наверное, напудрилась. Любят пудриться: набелятся, словно печка, – проговорил он, нехотя поднимаясь из-за стола. И сразу вздыбился, как кот, увидавший мышь. Из машины вышла женщина в цветистом платье, в туфельках, очень стройная, с глазами до того синими, что они напоминали небесную лазурь.

– Ох, ты! – произнес Шпагов и стремительно кинулся, чтобы встретить ее на ступеньках крыльца. И отсюда услышал, как Елена, повернувшись к шоферу, произнесла:

– Спасибо. Ну а где ваш Обтекаемый?

– Да вон, на крыльце, – ответил шофер, выбираясь из машины.

«Ой, Васька! Уже проболтался», – пронеслось в голове Шпагова. Но, не подавая вида, стуча по ступенькам каблучками модных ботинок, он ринулся к Елене.

– Елена Петровна! Прошу! – хотел было поцеловать ее руку.

– Не принято это у нас. – Елена отвела руку.

– Прошу вас, проходите, Елена Петровна, – говорил он, словно не слыша ее слов, и, держа свою руку так, будто собрался подхватить Елену под локоть, стал бочком подниматься по ступенькам, весь извиваясь и жадно заглядывая ей в лицо.

– Не споткнитесь, – предупредила она, еле слышно смеясь. А в кабинете спросила: – Зачем я вам так спешно понадобилась?

– Ваша сестра очень больна. Я хочу с вами посоветоваться. Иван Евдокимович около нее тоже заболел: забросил работу... и мы сироты. Что нам делать?

– Я думала, вы меня вызываете именно для того, чтобы сказать, что делать, – ответила она, не садясь в кресло. – Мне кажется, надо вызвать ее сына, студента. Он под Саратовом, на практике.

– Это кто? Кузен ваш?

– Послушайте, – наконец уже с досадой вырвалось у Елены. – У нас в стране «кузен» вообще звучит странно, а здесь, в глухих степях, и просто дико. Тем более, что кузен – двоюродный брат, а тут – мой племянник... Ну, я еду к Анне.

– Вас проводить?

– Зачем же рабочее время тратить? – И Елена вышла из кабинета.

Шофер, присутствовавший при этом разговоре, наклонил голову и шепнул Шпагову:

– Что? Зубки как? Пообломал?

«Молчать!» – хотел было крикнуть Шпагов, но не крикнул: слишком много знал шофер о его похождениях. Поэтому, зло посмотрев тому в глаза, он сквозь зубы процедил:

– Отвези!

А когда шофер вышел, Шпагов прильнул к окну и, глядя на то, как Елена занесла ногу, как уселась в машине рядом с шофером, вздохнул и выругал себя:

– Дурак! К чему это ты ручку-то полез целовать? Кузена-то к чему? И почему кузен? Ой, дурак, дурак! И зачем спросил: «Проводить?» Надо было просто сесть рядом в машину и, глядишь, сейчас прикасался бы к прекрасной степнячке.

Не отрывая взгляда от окна, он долго еще что-то шептал, хотя машина уже давно скрылась из виду, накрывшись пыльным хвостом.

6

Елена вошла в домик в тот час, когда Иван Евдокимович находился в самом тяжелом состоянии. До сих пор он отстранял всякого рода порошки и микстуры, боясь, что они повредят ребенку. Но, заметив, что у Анны посинели ободки губ, перепугался и как только завидел Елену, бросился к ней, говоря упавшим голосом:

– Не знаю, что предпринять. Теряюсь. Может, в обком позвонить, чтобы прислали профессора?

Елена молча пожала академику руку, прошла в комнату, где лежала Анна, всмотрелась в лицо сестры и только тут по-настоящему встревожилась. До этого она думала, что у сестры просто снова вспыхнула малярия, но сейчас, увидев, как болезнь сокрушила Анну, взволнованно проговорила:

– Иван Евдокимович, так не годится – все медикаменты отбрасывать. Передали мне, вы до того разобидели Марию Кондратьевну, что она даже не заходит больше сюда.

Иван Евдокимович раздраженно отмахнулся.

– Позвоните Акиму Петровичу, чтобы прислал профессора... Сам-то я не могу позволить: в голове ералаш.

– Хорошо, позвоню, – согласилась Елена и пошла к телефонному аппарату, но как раз в эту минуту под окна подкатила грузовая машина и из кузова выпрыгнул юноша – высокий, с длинными, словно у журавля, ногами.

– Петенька! – обрадованно проговорила Елена и на недоуменный взгляд академика ответила: – Сын Анны. Видимо, Иннокентий Савельевич, помимо нас, сообщил ему...

На пороге домика Петр стряхнул с себя пыль, снял фуражку, обеими руками пригладил волосы и, глубоко вздохнув, через другую дверь, миновав комнату, где находился академик, вошел к матери. Он долго смотрел на мать, на ее вздутый живот, ничего не понимая. Затем сел на стул, взял ее за руку и зашептал, зовя, как в детстве:

– Маманька моя!

Рука Анны дрогнула... Какая-то сила открыла глаза матери. Сначала они, затуманенные, поблуждали по потолку, по стенам; затем взор стал проясняться, как проясняется туманное утро в теплых лучах восходящего солнца.

– Петяшка, – еле слышно проговорила она и приподняла голову.

Петр обеими ладонями охватил ее пылающее лицо и, легонько опустив голову на подушку, повторил:

– Маманька моя!..

А Елена в это время уже звонила в город, бессознательно радуясь возможности еще раз переговорить с Акимом Моревым. Как-то она позвонила ему – это было в начале апреля, –

чтобы сообщить: под броней льда пало семьдесят восемь коней, больных анемией. Аким Морев тогда вместе с ней погоревал. На днях еще раз звонила, прося его приехать: «У нас степи цветут. Все пламенеет тюльпанами». Чаше звонить не имела возможности: телефон стоял на центральной усадьбе совхоза, в сорока километрах от фермы... А теперь представился случай, и Елена, волнуясь, думала: «Он, конечно, сидит у себя в кабинете... Секретарь обкома... Для меня он не секретарь... Для меня – Аким! Мой хороший Аким! Но ведь не скажешь ему этого по телефону. А сказать хочется! Очень хочется!»

Как и всегда, Елена натолкнулась на Петина.

– Аким Петрович выехал в северные районы области. Будет через три-четыре дня, впрочем, может, и сегодня вечером.

Елена сообщила о болезни сестры и о том, что Иван Евдокимович просит прислать профессора. На что Петин ответил:

– Профессора подыщу. Позвоните погодя.

– Передайте, пожалуйста, Аким Петровичу мой самый теплый привет.

«Что это?.. Привет, да еще теплый?» – не в силах уяснить себе отношений Елены и Акима Морева, подумал Иван Евдокимович, ожидая ответа о приезде профессора, но Елена уже входила в комнату, возбужденно поблескивая глазами, чему-то радуясь.

– Вы что же профессора-то? – спросил он.

– Слышите, очнулась: свой профессор приехал, – показывая на соседнюю комнату, где находились Анна и ее сын Петр, проговорила Елена. – Идите туда, Иван Евдокимович, – посоветовала она и ушла на кухню.

Здесь, уткнувшись разгоряченным лбом в прохладное стекло, она с надеждой подумала: «Выехал. Наконец-то. Северные районы области – это не Северный полюс. Непременно заедет ко мне... и я стану его женой. Женой!»

Иван же Евдокимович, войдя в комнату Анны, как-то сразу стушевался, увидав у постели долгового юношу с гладко причесанными волосами.

Анна несколько секунд просветленно смотрела на академика, затем, обращаясь к сыну, взволнованно прошептала:

– Не писала тебе, Петя, думала: приедешь, увидишь и сам рассудишь. Ну, вот и суди!

Петр взглянул на академика, потом на мать. Щеки у него вспыхнули.

«Не примет: уж больно отца-то своего любил», – мелькнула у матери мысль.

А Петр медлил, глядя куда-то в сторону. Да, в нем боролось уважение к академику с любовью к отцу, что погиб на фронте под Москвой, к тому мастеру-столяру, который построил вот этот домик и так любовно разукрасил его резьбой.

– Петя, – еле слышно позвала Анна, готовая снова впасть в забытие.

Сын быстро поцеловал ее, затем шагнул к окаменевшему академику, собираясь его обнять, но постеснялся и сказал просто:

– Всегда уважал вас как ученого, Иван Евдокимович. Теперь любить буду... и не только потому, что подчиняюсь желанию матери. От сердца любить буду.

На кухне звонко, заразительно расхохоталась над чем-то Елена, и все находившиеся в комнате, не исключая Анны, невольно улыбнулись.

7

Академик, Елена и Петр сидели на кухоньке и пили чай, чутко прислушиваясь к тому, что делается в комнате Анны.

– Что с садом случилось? – спросил Петр, глядя на Елену, потому что все еще не в силах был открыто посмотреть на Ивана Евдокимовича. Хоть Петр и сказал ему: «От сердца любить

буду», – но все еще никак не укладывалось у него в голове: академик и его мать-колхозница – муж и жена!

«Мама у меня – умница, никогда и никаких безрассудных шагов не делала, – думал он. – И если ей хорошо, то и мне будет хорошо. Только... по книгам Ивана Евдокимовича мы, студенты, учимся, а она? Не блажь ли это с его стороны? Не горести ли какие там, в Академии наук, загнали его сюда, в глушь? Пройдут огорчения, и его снова потянет в Москву. А с мамой что станет? Здесь она передовая женщина, а там? Да и возьмет ли он ее с собой?» Эти мысли волновали Петра, и он временами украдкой кидал взгляд на Ивана Евдокимовича, полагая, что тот этого не замечает.

Но академик все видел и понимал душевное состояние юноши.

«Многие и неожиданные чувства проснулись в нем, – думал он, тоже украдкой всматриваясь в Петра. – Ехал и ожидал встретить мать одну, а тут трое, и, конечно, у него ералаш в голове: осуждает. Хотя и сказал «одобряю», а в душе осуждение. Не из тех ли он – с ветерком в голове, вроде Крученого барина?..»

Еще до того несчастья, которое так неожиданно обрушилось на Егора Пряхина, на Анну, а стало быть, и на весь колхоз, Иван Евдокимович провел беседу с колхозниками села Разлом. Беседа была вызвана решениями весеннего Пленума Центрального Комитета партии. Академик на основе опыта отделения Академии наук горячо рекомендовал использовать полезную бактерию как в полеводстве, так и в животноводстве. Но после его доклада, как это часто бывает, разгорелись страсти.

Незадолго перед этим собранием Назаров пригласил правление колхоза «Гигант» к себе в райисполкомовский кабинет и тут, при обсуждении «хозяйственных мероприятий колхоза в связи с решением Пленума Центрального Комитета партии», подначил Мороженого быка, и тот обрушился на руководство колхоза за нарушение травопольной системы. Говорил он довольно путано, но зато угрожающе и весомо постукивал кулаком по столу.

Иннокентий Жук тогда промолчал, зная, что колхозный Пленум лишил райисполком права вмешиваться во внутренние дела колхоза. Он только еле слышно, но зло произнес:

– Пустобрех!

В кабинете все притихли, даже всегда находчивый Назаров, и тот растерялся, а напыщенно-гневное лицо Мороженого быка из красного превратилось в иссиня-серое.

– То есть как это... да... это? – растерявшись и ища поддержки у присутствующих, проговорил он.

– Да это же он в мине... в мине кинул! – почему-то произнося «в мине», прокричал Вяльцев. – И впрямь, пустобрех я: как начну, как начну, так и взвоюсь в небеса, только пятки сверкают.

Все поняли хитрый ход Вяльцева, но придаться не смогли. Иннокентий Жук тоже сообщил, что Мороженого быка «выпустил» Назаров, и теперь на собрании тоже сам «выпустил» Вяльцева.

– Мы этой самой системой травопольной, – горячо говорил Вяльцев, – вроде румяна на губы девки наводим. Ну а если девка урод, горбунья, допустим? Тогда к чему румяна?

На Вяльцева напали. Сначала Назаров в пылу горячности назвал его «верхоглядом», затем выступили работники райисполкома и принялись доказывать Вяльцеву, что он «отводит колхоз от генеральной линии».

После всего этого выступил академик и популярно изложил теорию Вильямса о травопольной системе. Но под конец с грустью заявил:

– Только вы нам на слово не верьте. Проверьте нашу «генеральную линию» на практике.

Колхозники задумчиво молчали, а паренек с завитушками на голове, сидящий в первом ряду, бросил реплику:

– Мы вам верим: вы для нас авторитет!

Иван Евдокимович вздрогнул, посмотрел на паренька и зло произнес:

– В данных случаях авторитетам верят только дураки. – Он спохватился было, но слово уже вылетело. – Извините, конечно...

После собрания академик спросил Иннокентия Жука, кто тот паренек, что бросил реплику. Председатель колхоза шепотом ответил:

– Ешков, по прозвищу Крученный барин. Стихоплет. Псевдоним у него – Уроков. Он теперь вам задаст.

Сейчас, вспомнив Крученого барина, особенно его отвратительные, злобные стишки о гибели отары овец и сада Аннушки, Иван Евдокимович покраснел и обругал себя за то, что сравнил Петра с этим стихоплетом.

«Чепуха! Ничего общего! Хотя, видимо, и он тоже обо всем судит с наскоку. Но почему с наскоку? Может, просто ему не по душе наш союз?»

И, снова потеплев, академик обратился к Петру:

– Что случилось с садом? – переспросил он. – Мороз, вернее, лед все сучья пооторвал. Поручил.

– Такое бывает и во время обильного мокрого снега: навалится всей тяжестью на сучья и выдирает их с мясом, – живо подхватил Петр, краснея.

– Вот-вот, именно с мясом, – согласился Иван Евдокимович.

– А мороз на корневую систему не подействовал? – спросил Петр, открыто глядя в глаза академика, и опять вспыхнул: на равных началах говорит с таким известным ученым, как академик Бахарев!

– Не думаю. Мороз был, насколько помню, от пятнадцати до двадцати градусов. Так ведь? – И Иван Евдокимович повернулся к Елене.

– Не больше, – не сразу ответила она, думая о своем: «Аким сейчас там – в северных районах. Закончит дела – и ко мне. Милый мой! Хороший мой».

– Лечить надо... сад, – задумчиво произнес Петр, на его лбу появилась морщинка, наивная и смешная; сейчас Петр напоминал ребенка, который только-только начинает ходить и растерянно улыбается. – Так я... Можно мне туда сбегать? – по-мальчишески произнес он и, встав из-за стола, поправил поясик на украинской рубашке.

– Далеколько: километров двенадцать, – уже любясь Петром, проговорил Иван Евдокимович.

– А я прямиком. Всего километров шесть.

– Беги. – Ивану Евдокимовичу в эту минуту хотелось добавить «сын»», но слово «сын» не получилось: снова охватили его сомнения.

«Улыбается, а на душе у него, наверное, хмурь!» – глядя вслед удаляющемуся Петру, подумал он.

8

Как только Петр отправился в сад, в комнату вошел Иннокентий Жук.

– Лекарство мы придумали, – заговорил он, выпячивая сильную грудь. И пояснил в ответ на недоуменный взгляд присутствующих: – Для Егора Васильевича Пряхина. Народное лекарство. Идемте, поглядите, да и сами, может, что придумаете для Анны Петровны. Негоже, товарищ академик, по нынешним временам болеть передовым людям колхоза. Глядя на них, и колхозники душой исходят.

Оставив Елену при Анне, Иван Евдокимович направился с Иннокентием Жуком к Пряхину.

Егор все еще лежал в постели, хотя его физические силы уже покорили душевный недуг. Одного он все еще не мог: смотреть людям в глаза – и потому сказал Клане:

– Никого не пускай: спит, мол, и спит, – и разговаривал только с сыновьями, рассказывал им небылицы о каких-то удавах с огненными глазами, будто виденных им самим на Черных землях, о конях с пламенными гривами. «Гривы горят, кони мчатся, и в степи вроде солнце сияет». Рассказывал об озерах, в которых водятся жареные рыбы. Беседуя с сыновьями, он ощупывал на их руках мускулы, которыми они хвастались перед отцом, особенно Степан.

– Кырпыч, – вместо «кирпич» говорил тот, надувая при этом не мускулы на руке, чего делать не умел, а живот, и тогда второй сын, Егорик, кричал, показывая на живот братишки:

– Ба-ра-бан!

Малый хватал что попадало под руку и гневно запускать в Егорика, грозя:

– Накостыляю!

Егор Пряхин рассказывал ребятам небылицы, смотрел на их возню, прислушивался к их спору, а порою и сам вступал с ними в спор, особенно со старшим сыном, Васей, которому взбрело в голову стать шахтером, а не чабаном.

– Что такое шахтер? – возражал отец. – Копаются вроде суслика где-то там под землей. А чабан? Хозяин степей – вот кто такой чабан!

– Уголь – голова всему, папа, на угле паровозы бегают, электричество горит, шерсть перерабатывается, чугун-сталь плавится. Убери уголь – затухнет все.

– Ого! А ты шерсть убери – нагишом ходить будешь! Вот у меня каждая овечка по шести килограммов в год шерсти дает. Это, почитай, четыре костюма в год. А со всей отары восемь тысяч костюмов. Целый город могу одеть! – И тут отец скисал: овцы-то у него все полегли, там, в лимане. И он снова надолго смолкал, горестно думая о том, как будет теперь жить. Отару ему, конечно, не дадут, а он любит степи, вся его жизнь в них, вся радость...

«Ну, сторожем... на коровник. Эх, докатился ты. Егор!.. – И подсчитывал: – Семь тысяч деньгами на сберкнижке – раз. Сорок восемь пудов хлеба – два. Мало, мало: ртов-то сколько у меня!»

В такую минуту и вошли к нему Иннокентий Жук и Иван Евдокимович. При виде их Егор Пряхин отвернулся к стене, глухо выдавил:

– Явились хребтнюк доламывать?

– Народ не дает, – твердо произнес Иннокентий Жук и, шагнув к окну, напряженно посмотрел на улицу, почему-то недовольно прикрикнув: – И чего там мусолятся?

И в этот миг со всех сторон на улицу, точно по команде, посыпались сизо-золотистые шарики – овцы тонкорунной породы. Они выкатывались группами в тридцать, пятьдесят голов и перед домом Егора Пряхина смешивались, громко блеяли, подпрыгивали. Вскоре площадка была запружена тесно сбившимися овцами. Появился шест, а на нем полотнище с крупно выведенными словами: «Отара знатного чабана Егора Васильевича Пряхина».

Егор как был в нижнем белье, так и сполз с кровати. Припав к окну, он долго смотрел на овец и наконец, повернувшись к Клане, тихо вымолвил:

– Ноги не те... У моих и на ногах шерсть росла. Однако это легче – шерсть на ногах вырастить.

Не знал Егор о том, что несколько дней назад Иннокентий Жук созвал всех чабанов Разломовского района «на круг» около озера Аршань-Зельмень и рассказал им о беде, какая постигла Егора Пряхина.

– Сами чабаните, понимаете, как и чем лечить Егора Васильевича, – так закончил он свою речь.

Чабаны, уже закопченные майским солнцем, стояли вокруг, опираясь на высокие посохи, и, склонив головы, думали. Они всегда больше думают, нежели говорят: с кем в степи поговоришь? С овцами разве? А тут надо крепко подумать, как быть...

Иннокентий Жук, зная, что чабаны – «молчальники», «долгодумы», не торопил их, а только пристально смотрел на татарина Ибрагима, закадычного друга Егора Пряхина: Егор когда-то во время снежной метели спас Ибрагима от неминуемой смерти.

Ибрагим чабанил в совхозе имени Чапаева, километров за сто от озера Аршань-Зельмень. Прослышав о беде Егора Пряхина и о том, что чабаны собираются «на круг», он на гнедом иноходце раньше всех прискакал сюда.

Сейчас, войдя в круг и встав рядом с Иннокентием Жуком, такой же короткий и плотный, он задумался: «Что делать? Как помочь другу? Отделить от каждой отары по десяти овец – и Егор Пряхин полный чабан? Но это плохо, – рассуждал про себя Ибрагим. – Согласятся ли колхозники? Опять же заседать надо. Правление заседай. Колхозники заседай. Да и какой в этом толк, если добро из одного колхозного кармана переложить в другой. Что же тогда делать?»

Ибрагиму было известно, что у каждого чабана при отаре гуляют свои овцы – у одного десять, у другого двадцать: премии.

Пока так думал Ибрагим, из зарослей озера поднялся в воздух лебедь-самец. Его все чабаны знали: ранней весной какой-то бессердечный охотник убил его подругу-лебедиху и, видимо, устыдившись своего поступка, кинул ее в канаву на большой дороге... и лебедь остался один. Вон он поднялся с озера, раскинул широкие, с бахромой на ободках, крылья и, посвистывая ими, проплыл низко над чабанами. И все задрали головы, глядя на него, на вечного вдовца, ибо знали, что он в тоске по своей подруге обязательно направится на глухие Сарпинские озера искать ее... и не найдет.

У Ибрагима дрогнуло сердце.

– Егор без отары такой же одинокий, как и наш лебедь, – задумчиво, ни к кому не обращаясь, прошептал он и ударил высоким посохом о землю. – Горе-беда может и богатыря свалить. – Затем, вскинув руку с растопыренными пальцами, что означало пять, опустил и снова вскинул, что означало уже десять. – Отделяю от своих овечек десять голов, чтобы Егор Васильевич не горюнил. Своих овечек жалко, ясно... но дружба. Как вы, чабаны? – и вышел из круга.

Тогда чабаны поодиночке стали входить в круг. Стучали посохом, и каждый два раза вскидывал руку с растопыренными пальцами, повторяя:

– Своих овечек жалко, ясно... но дружба.

И сейчас Егор, не отрываясь от окна, долго смотрел на отару, не зная, откуда она взялась. Иннокентий Жук подсказал:

– На круг собирались... чабаны.

И Егор, сразу поняв все, взволнованно прошептал:

– Вон оно что! – и, повернувшись к жене, прогремел: – Гуляем!.. Весь капитал – на стол, угостим людей сердечных!

– Пир, значит? – спросил Иннокентий Жук.

– Пир на весь мир, – подтвердил Егор и распрямился – высокий, широкогрудый, рыжий, как красный камень. Глыба!

– Нет. Допреж давайте Аннушку на ноги поставим, – возразил Иннокентий Жук и – к академику: – Видите, Иван Евдокимович, какое лекарство народ для Егора Васильевича придумал? Вы ученый, сообразите такое и для Анны Петровны.

Глава четвертая

1

«Зис» легко, словно облако, оторвался от парадного подъезда пятиэтажного дома и бесшумно, точно боясь потревожить утреннюю дрему города, понесся асфальтированной улицей, взяв направление на север.

Аким Морев, сидя рядом с Астафьевым, посмотрел на его посвежевшее лицо и спросил:

– Удалось поспать, Иван Яковлевич?

– Я сплю, как чабан: где угодно, на чем угодно. Склонил голову – и храпака. Не потревожил вас руладой?

– Рулады не было, но почвакивал вкусно.

– Наверное, во сне пил чай с курагой, как в детстве, – смеясь, пояснил Астафьев.

– Сны запоминаете?

– Нет: крепкий сон вычеркивает из памяти сны.

А секретарь обкома так и не сомкнул глаз.

Вчера, часов в одиннадцать ночи, пригласив Астафьева в свою пустующую квартиру и похлостаячки угостив его чаем с бутербродами, он провел его на половину, официально занимаемую академиком Иваном Евдокимовичем Бахаревым. Астафьев, как только прилег на диван, так и «зачвакал», что Аким Морев слышал из своей комнаты, а издавал ли он потом рулады, или нет, это до Акима Морева уже не доходило: он как-то на время оглох ко всему, что не касалось его внутренней боли.

Ему казалось, что область трещит, как ветхий корабль в бурю на море, чего, возможно, мог еще не слышать рядовой пассажир, но зато уже не только слышит, но и ясно предвидит опасность опытный капитан.

«Можете потерять доверие Центрального Комитета партии», – сказал Аким Мореву Моргунов.

Потерять доверие Центрального Комитета – значит не только низко пасть, но и дать возможность распоясаться противникам: обрушить на тебя все, что взбредет им в голову, вплоть до лжи и клеветы. А противников у Акима Морева уже немало. Чего стоит один секретарь горкома Гаврил Гаврилович Сухожилин! Случись беда, и Сухожилин поднимется, даже талант проявится... Друзья – и те расколются: одни метнутся к Сухожилину, другие при встрече будут украдкой сочувствовать, а за глаза говорить:

– Был князь, превратился в грязь.

И Акимом Моревым стала овладевать тревога. А не поспешил ли он, дав согласие стать первым секретарем обкома? Не лучше ли было задержаться где-либо «пониже»? Ведь он не из тех, кто при назначении на тот или иной руководящий пост рассуждает: «А какую выгоду сие мне даст? Будет ли у меня в личном пользовании машина и какая? Смогу ли “нацарапать” себе на дачку?» Нет. Аким Морев был человеком другого склада: стремился во всю меру сил проявить свое дарование общественного деятеля, как проявляют свои дарования рабочие, колхозники, ученые, писатели. Такое проявление было основой основ его личной жизни. Отними у него эту возможность – и он сник. Но, может быть, для проявления своих дарований он взял слишком большую площадку – область, да еще самую трудную в Поволжье? Ведь здесь уже перебивало семь секретарей обкома... и почти все «погорели». Не «погорит» ли и он, Аким Морев? И что следует предпринять, чтобы не «погореть»?

Встать в позу Опарина и с веселой улыбкой уверять: «Все уладится само собой» – глупо. Начать обвинять обкомовских работников в том, что они «откололись от ленинизма», как это делает Сухожилин, – вреднейшая трескотня.

– Так что же... что же предпринять? – шептал он, глядя через открытое окно в темное звездное, с глубокими провалами небо, и вдруг вспомнил слова, сказанные Иваном Евдокимовичем Бахаревым в то время, когда Аким Морев еще колебался, давать или не давать согласие на то, чтобы стать первым секретарем обкома:

– Уж очень местечко-то жгучее, Аким Петрович. Впрочем, вы совладеете: все данные при вас.

Тогда Аким Морев обратил внимание на «все данные при вас», а вот теперь остро всплыли слова «уж очень местечко-то жгучее».

– Да. Жгучее, – снова прошептал он, не отрывая взгляда от темного звездного неба.

С такими мыслями он и просидел всю ночь, пока Астафьев сладко «почвакивал» в соседней комнате.

А сейчас, когда машина оставила город и по обе стороны дороги расхлестнулись зеленеющие хлеба, он неожиданно пришел к утешительному выводу: «Зачем я так терзаюсь? Посевную площадь мы в этом году расширили и вид у хлебов, смотрю, хороший. Ругают в печати? Бывает. Уходят люди из колхоза? Вот мы с Астафьевым и вскроем причины этого и устраним угрозу... Мы с Астафьевым...»

Одним словом, успокоительных доводов появилось столько, что секретарь обкома облегченно вздохнул и даже подумал: «Зря я, пожалуй, поскакал в северные районы. Надо бы на юг – к Елене. В самом деле, почему мне не уладить сначала личные дела?... Нет! Не следует об этом сейчас думать».

Но хотя он настроено приказал себе: «Не следует об этом думать», – всю дорогу, сидя в машине рядом с Астафьевым, задавая тому вопросы о сне и снах, глядя на новые, в дреме, дома, на молодое зеленеющие хлеба и на игру лучей восходящего солнца, во всем видел ее, Елену.

А Астафьев напряжен: рядом с ним сидит первый секретарь обкома, пригласивший его по весьма серьезному делу – вскрыть источники бед в колхозах. Одно неосторожное слово может все испортить, опрокинуть, как неуклюжий человек иногда ногой опрокидывает таз с кипятком: если не других, то себя ошпарит. Астафьев был уверен, что знает «источники бед». Они, эти источники, однажды прорвались и в Нижнедонском районе, которым вот уже больше двадцати лет руководит Астафьев. Как раз об этом он и хотел откровенно поговорить с секретарем обкома. А тот: как спалось, не видел ли сон? И, вишь ты, смотрит по сторонам и чему-то радуется. Может, самому начать? И, прицепившись к словам Акима Морева, сказанным вчера в обкоме, Астафьев заговорил:

– Так, значит, Аким Петрович, хватка? Да еще мертвая?

– Да. Хватка, – с некоторой заминкой ответил Аким Морев.

Странно: там, в обкомовском кабинете, он чувствовал свое превосходство над Астафьевым, а вот теперь, когда они вплотную собираются разобраться в сельском хозяйстве, у секретаря обкома появилась робость, а у секретаря Нижнедонского райкома в голосе слышится превосходство.

– Разные они бывают, хватки, – и вдруг высокий лоб Астафьева покраснел: признак – Астафьев злится. – Одна мертвая хватка терзает новое, молодое, другая, в поддержку новому, молодому, душит старое.

Аким Морев подметил, что все передовые агрономы, в том числе и академик Бахарев, помешаны на чем-то своем. И чтобы выяснить, на чем помешан Астафьев, сказал:

– Хватки, конечно, разные бывают. Вот вы, например, больше двадцати лет внедряете на полях травопольную систему земледелия, а академик наш, слышал я, всю жизнь защищавший эту систему, ныне против. Нам, партийным работникам, и туго: за какую же хватку уцепиться?

– Порою человеком владеет идея, а надо, чтобы он владел ею, – ответил общеизвестной истиной Астафьев, вероятно, не желая обижать своего учителя академика Бахарева.

– Это не тот топор, которым можно разрубить узел, – заметил Аким Морев.

Тогда Астафьев сказал более напористо:

– В ряде областей многие колхозы влачат жалкое существование.

– Об этом сказано в постановлении Пленума ЦК.

– Да. Но там не подчеркнуто, что в колхозе, который влачит жалкое существование, назревает государственная катастрофа.

Аким Морев намеревался было оборвать Астафьева за столь, как казалось ему, преувеличенное и неправдоподобное суждение, но вовремя сдержался, понимая, что если он сразу же оборвет секретаря Нижнедонского райкома, тот может замкнуться, и потому мягко возразил:

– Ну, вы уж очень, Иван Яковлевич... «Катастрофа», да еще «государственная»! Шуточки!

– Что ж, вы хотели заглянуть в колхоз «Партизан»? Давайте заедем, – предложил Астафьев, досадуя на секретаря обкома за то, что тот не видит, как казалось ему, истинного положения дел.

2

Северная часть области отличалась от южной не только черноземами, но и более густым населением, поэтому и районы здесь выглядели не так пустынно, как южные, где от одного районного пункта до другого километров пятьдесят, а то и все сто.

Аким Морев за семь месяцев работы в Приволжской области еще не успел побывать в северных районах и сейчас внимательно всматривался в поля, окутанные майской зеленью: всюду густели яровые, озимые, благодатно подкормленные только что прошедшими обильными дождями, и наливались соками травы, а небо было до того чистое и синее, что напоминало глаза ребенка.

Под таким детской синевы небом через каждые десять – пятнадцать километров село или деревня. Там, где несколько лет назад прокатился огненный вал войны, селения выглядят убого: редко видны хатенки, в большинстве землянки, чаще без окон, похожие на деревенские подвалы, да и те почти наполовину покинуты – заколочены. Северней же, за линией огня минувшей войны, села и деревни крупнее, улицы застроены избами, шатровыми из кирпича домами, магазинами, школами. Но и здесь в улицах много пустых мест: видны остатки труб, осевшие сараи, и все уже заросло травой. А на уцелевших хатах – ни одной новой крыши, ни одного нового крылечка, не говоря уже о палисадниках.

– Как много домов покинуто, и ни одного свежего пятна! Понятно: весь лес идет на восстановление Приволжска и на строительство гидроузла, заводов, фабрик, – невольно смягчая положение, проговорил Аким Морев.

Астафьев сказал:

– Человек умрет, и доски на гроб не достать... А вы говорите: «ничего».

– «Ничего» я не говорил и не говорю, – возразил Аким Морев, уже раздражаясь упрямой настойчивостью Астафьева.

– В «Партизан» направо, Иван Петрович, – подсказал шоферу Астафьев, все больше и больше убеждаясь, что Аким Морев – «слепыш», как те приезжие, кого в народе называют «стрекачами»: стрекочут, будто кузнечики...

...Правление колхоза «Партизан» разместилось в шатровом доме с обвалившимися зава-linkами и покосившимися воротами: верный признак, что у хозяина ни стыда ни совести.

В комнате, отделенной от другой дощатой перегородкой, Аким Морев и Астафьев застали председателя колхоза Ивашечкина, человека еще молодого, потерявшего левую руку

в годы Отечественной войны, председателя сельсовета Гаранина, мужчину высокого роста, с лицом, покрытым сплошными морщинами, словно сушеная груша, и бухгалтера Семина, желтоватого, толстого... точно барабан в оркестре.

Узнав о том, кто к ним заехал, все трое сразу же стали жаловаться:

– Колхозники губы надули.

– Переселенцы из Орловской области собираются восвояси.

– Коровы мало молока дают.

– Значит, плохо работают колхозники? – сочувственно спросил Аким Морев, веря жалобам руководителей колхоза и желая во что бы то ни стало помочь им.

– Сладкого пирога требуют... и больше ничего, – подтвердил предсельсовета Гаранин и покосился на секретаря обкома.

– А вы довели до их сознания решение весеннего Пленума Центрального Комитета партии? – задал вопрос Морев председателю колхоза Ивашечкину.

Ивашечкин встрепнулся, глянул на Гаранина, как бы спрашивая, так ли, дескать, линию гну, и сказал:

– На пленуме райкома проработали, на собрании коммунистов проработали, – и показал на себя, Гаранина и Семина. – Затем призыв на общем собрании колхозников произвели.

– А они одно орут: «Давай белого пирога!» Досконально! – напористо выкрикнул Гаранин.

– Вишь ты, какие они у вас, – заговорил Астафьев, брезгливо улыбаясь. – Может, пригласите хотя бы одну доярку? По вашему усмотрению, – добавил он, видя, как губы у Ивашечкина задрожали: знал Ивашечкин, что любая доярка прояснит гостям «суть дела».

Вскоре в комнату вошла румянощекая крупная женщина с красными, обветренными руками, какие бывают только у доярок. Не стесняясь, она поздоровалась с Акимом Моревым и, узнав, кто перед ней, произнесла:

– А-а! Приятно видеть. – Затем поздоровалась с Астафьевым и, тоже узнав, кто он, повторила: – А, приятно видеть!

Говорила она бойко, разумно, рассказала о том, какой породы у нее коровы, какой характер у каждой, сколько молока дает каждая. А когда Астафьев задал вопрос, как у нее с выполнением плана удоя, она так же бойко ответила, что план выполнила.

– Ну а сколько вы теперь получаете с колхоза за свой труд?

Доярка осеклась, развела руками и, глядя то на Ивашечкина, то на Семина, медленно проговорила:

– А кто ее знает.

Когда Астафьев поблагодарил ее за беседу и доярка покинула комнату, Аким Морев с обидой посмотрел на «тройку», как бы говоря: «Что же это вы? Решили меня надуть? Я к вам с чистым сердцем, а вы?» И тихо проговорил:

– По постановлению Пленума она имеет право получить с колхоза какую-то сумму денег. Ей ничего об этом не известно. А вы уверяете, что разъяснили постановление Пленума, да еще «досконально».

– У нас в кассе денег нет, – решив выручить своих друзей, хриловатым голосом объявил Семин.

– То есть как же это? Наличных нет?

– И вообще... ходи вверх ногами! – снова выпалил Семин.

– А вы бы взяли в банке кредит. Есть указание на авансирование давать кредит.

– Не дают, – отчеканил Семин.

– Как же так? Неужели вы не понимаете, что материальная заинтересованность – основа основ? – спросил секретарь обкома.

– Понимаем, но не дают, ходи вверх ногами!

– Кто ходи вверх ногами? – недоумевая, опять спросил Аким Морев и подумал: «Кажется, у них тут все вверх ногами».

– Это у него поговорка такая, у нашего буха, – пояснил Гаранин и, поднявшись со стула, уже направился к выходу, как бы говоря этим: «Хватит. Калякали-покалякали и – покой душе давай».

Но секретарь обкома остановил его вопросом:

– Вы сколько на трудовень в прошлом году дали?

Бухгалтер Семин полез в шкаф, достал толстенную книгу, раскрыл ее и долго перелистывал, пыхтя над ней. То ли ждал, что приезжие отвлекутся разговором и забудут о заданном вопросе, то ли хотел показать, что занят очень Серьезным делом. Наконец он подвинул к себе счета и, сбросив толстеньким пальцем в левую сторону десять шашек, сказал:

– Весной сулили по десять килограммов зерна на трудовень.

– А дали?

– По сто грамм зерна... и арбузов... много чего-то, – ответил Семин, даже не покраснев.

– Сто граммов? Такую норму курице на день дают в хороших колхозах. Что ж, неурожай вас подкосил? – все так же мягко спросил Аким Морев.

– Урожай был великий... да не убрали: просо под снег пошло, и все такое прочее, – ответил Гаранин, помахивая правой рукой, будто что-то рубил.

– А что это «и все такое прочее»?

– Да так... всякое, товарищ секретарь обкома. Стихийное бедствие... и прочее.

– Чем же живут у вас колхозники, ежели на трудовень получили по сто граммов? – задал вопрос Аким Морев, обращаясь к Ивашечкину.

Ивашечкин растерялся. Но тут вступился, будто на таран пошел, предсельсовета Гаранин.

– Да вот так... живут уж! – уверенно сказал он, блеснув глазами.

– Живут ли?

– Не умирают... уповая на будущее, – подчеркнул Гаранин и сердито посмотрел в лицо Акима Морева, как бы говоря этим: «летаете тут – галки».

По выходе из правления колхоза Аким Морев раздумчиво произнес:

– Пока что мрачно, словно в подземелье.

Астафьев, хотя перед этим и решил быть осторожным с секретарем обкома: «А то черт его знает, как он повернет», – не сдержался:

– Теперь видите, какая назревает катастрофа?

Аким Морев, который и без Астафьева видел, в каком положении находится колхоз, сорвался:

– Чего это вы нажимаете, и все на то же место!

– Не я, жизнь нажимает.

– Нет, не жизнь, а вы. Катастрофа? У вас в районе тоже катастрофа?

– Тени даже нет.

– А тут долдоните: «Катастрофа». Здесь, очевидно, разрушают колхозный строй... И то – надо изучить, а не в панику ударившись, пороть горячку.

– Зайдемте к моей крестной, – предложил Астафьев, снова злясь на секретаря обкома: «Беда лезет в глаза, как поднятая бурей мякина, а он... все смягчает... подыскивает эластичные формулировки. Буду осторожней: пусть на него сами факты напирают!»

3

Дом крестной Астафьева, Елизаветы Лукиничны, стоял в центре улицы, на красной стороне. По всему видно, он строился любовными, заботливыми руками: фасад украшен причуд-

ливой резьбой, а крыша покрыта железом, перед домом палисадник. И все: толстые бревна, уложенные венцом, и рамы окон, и резьба, и забор палисадника – почернело, а крыша проржавела так, что кажется рыжей. Почти такие же дома тянутся и дальше, но крытые черепицей, которая местами уже провалилась, или побуревшей соломой, а за ними, на второй улице, – подслеповатые землянки, мазанки... Тут и там дома с забитыми окнами, кое-где пустыри, заросшие крапивой, с провалами погребов.

Аким Морев, всматриваясь в улицу, задумчиво произнес:

– Оскудело село-то. Но в этом есть и положительная сторона: люди ушли в город, на строительство заводов, влились в коллектив рабочих. За эти десятилетия у нас в стране рабочий класс увеличился втрое. Конечно, за счет деревни.

– Да-а, – неопределенно протянул Астафьев и почему-то повел его не к крестной, а куда-то в сторону, говоря как бы между прочим: – Мы с вами находимся в верхнем течении реки Иволги. Как и многие здешние речушки, она в половодье буйная, а летом тихая. А вон и «гидра», как зовут ее колхозники.

Они стояли на плотинке, прорванной в середине. И на плотинке и на отводных канавах – на всем лежал налет той покинутости, какая бывает на старых скотных дворах, предназначенных на слом: дамба поросла высокой сухой полынью и крапивой, в гидростанции (под нее, видимо, был приспособлен старый амбар) окна и двери выдраны, а вон кто-то принялся уже и за крышу.

– Что же тут стряслось? – спросил Аким Морев.

– До войны колхозом руководил муж крестной, Афанасий Иванович. Он вместе с колхозниками построил плотину вон там, повыше, и отводные каналы орошали ту долину, что лежит ниже. Выращивали помидоры, капусту, огурцы и даже картошку. Тогда колхоз вошел в число миллионеров, и тогда же появились дома, какие вы только что видели... А там, на второй улице, в землянках – переселенцы из Орловщины... После войны переехали.

– Ну а яснее?

«Э, нет! Хватит: уже раз нарвался. Теперь получай только факты», – подумал Астафьев и с подчеркнутым хладнокровием продолжал:

– С группой колхозников Афанасий Иванович в первый год войны ушел на фронт и погиб под Сталинградом. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. После Афанасия Ивановича колхозом сначала завладел Гаранин, ныне председельсовета, потом Ивашечкин... И вот Гаранин, Ивашечкин и бухгалтер Семин решили на этом месте воздвигнуть гидростанцию.

– Вы это не одобряете?

– Одобряю, и весьма. Но какова цель?! – вдруг опять сорвался Астафьев.

– Какова бы ни была цель, но гидростанция принесет пользу колхозу.

– Построенная – да. Но ведь один строит с целью поднять благосостояние колхозников, другой – поживиться самому и попойнствовать. На вывозке навоза не попойнствуешь! А тут гидростанция. Ого! Электрификация социалистического сельского хозяйства! Ого! И областные власти пошли навстречу: отпустили кредит около восьмисот тысяч рублей. Гаранин, Ивашечкин, Семин пригласили строить станцию подобных себе. И «работа» закипела. – Астафьев болезненно улыбнулся. – Впоследствии крестная говорила: «Не поймешь, бывало, где вода льется, где водка». Некоторые запротестовали было, зная, что там, где водка, добра не жди. Гаранин отвечал всем одинаково: «Не подмажешь, не поедешь. Мудрая поговорка! А не нравится, тогда слагаю с себя ответственность. Сама бери бразды правления, а мы в сторонку и оттуда критиковать тебя будем». Одним словом, новая плотина была насыпана, гидростанция воздвигнута и назначен день торжественного открытия. На торжество собрались колхозники – с флагами, комсомольцы – с флагами, пионеры – с флагами, представители соседних колхозов

– с флагами, районные власти – с флагами. Гаранин намеревался было уже открыть митинг, как... как плотину прорвало.

Аким Морев еще раз посмотрел на полуразрушенную гидростанцию, на черный зев – прорыв в плотине, на еще свежие, непобуревшие электрические столбы с беленькими чашечками-изоляторами, на прошлогодние заросли полыни, репейника, крапивы, захватившие берега и дно бывшего водоема.

– Акт составили: «стихийное бедствие», – тихо закончил Астафьев. – Секретарь райкома Ростовцев сие принял за чистую монету... и колхоз-миллионер, созданный огромнейшими усилиями народа, рухнул.

Аким Морев перевел взгляд ниже, за плотнику, на долину, которая когда-то орошалась. Там тоже все опустошено, заброшено, предоставлено крапиве, полыни и репейнику.

4

Елизавета Лукинична оказалась дома.

У нее на тощем, испещренном лучистыми морщинами лице бирюзовые глаза, взгляд которых в былые времена, наверное, «разил» парней. Увидев на пороге Астафьева, она засияла и быстро пошла к нему навстречу, говоря:

– Ванюшка! Крестничек! Проходи. И товарища своего зови. Вот радость-то мне! – И, поцеловав три раза Астафьева в губы, пожав руку Акиму Мореву, сразу же хлопотала на кухне, грея самоваром.

Аким Морев осмотрелся.

Внутренний вид домика был еще более неказист, нежели внешний. Здесь деревянные стены тоже почернели, но вдобавок было и пусто: на окнах ни одной занавески, стол, местами изрезанный, не покрыт, вместо табуретов и стульев длинные скамейки. У порога стоптанные опорки от мужских сапог. В углу покрытая дерюгой кровать. Дверь в соседнюю комнату открыта, и через проем виден портрет на стене, вероятно Афанасия Ивановича, – бородатого человека с золотой звездочкой на груди, явно кем-то подрисованной потом... Там же вся стена увешана пучками трав, корней.

В памяти Акима Морева возникла плотина, полуразрушенное здание станции, заросшее дно бывшего водоема, оскудение в долине, бегущие во все стороны электрические столбы... а теперь вот эта пустота в доме защитника Родины, Героя Советского Союза, человека, который создал колхоз-миллионер... И у секретаря обкома невольно брызнули слезы, те слезы, что в народе называют «неудержимыми». Он их смахнул, а они снова полились.

– Ветер. Надуло... там, на плотинке, – сказал он и несколько минут сидел молча.

Астафьев глянул на него, подумал: «Оказывается, он не «слепыш»: слезы! Что же, и заревешь! Значит, ему свои мысли доверить можно».

Елизавета Лукинична поставила на стол самовар, чашки, сахарницу с комковым сахаром, затем, стряхнув ладошкой что-то невидимое на столе (стол был чистый), налила гостям довольно жиденького чаю и присела у порога. Отсюда сияющими глазами, в которых почему-то играл смех, несколько секунд смотрела на Астафьева, потом заговорила:

– Большой уж ты стал. Ох, какой большой, Ванюшка! А я сейчас вспомнила: семь лет мне было, крестному твоему тоже семь. Принесли мы тебя из церкви, а твой отец спрашивает: «Ну, как звать-величать моего сына?» А мы забыли. Не то Василий, не то Петр... и как припустились кум и кума к попу. Прибежали, спрашиваем: «Как парня-то звать?» Ответил: «Иван, Иван Богослов». Ты такой и вышел – проповедник жизни новой, – и горестно вздохнула, обводя стены взглядом.

Аким Морев с детских лет знал, что комковый сахар покупают крестьяне потому, что он крепче, не так быстро тает во рту и что с одним маленьким кусочком можно выпить и две,

и три чашки чаю. Зная это, он не решился пить внакладку, а отгрыз от куска краешек и стал пить вприкуску.

В это время в дом вошла женщина, что-то шепнула хозяйке и, передав большой ноздрястый ключ, скрылась.

– Что это, крестная? – спросил Астафьев.

– Ключ-то? От сундука. На работу пошла. Хлеб от ребятишек в сундук заперла, а ключ мне: расташут хлеб голодные ребятишки, – ответила Елизавета Лукинична и, чуть подумав, добавила: – Мать, а сердце в комок сжала и хлеб от ребятишек спрятала: иначе все съедят, а завтра зубы на полку. Вот так и живем, крестничек, Иван Богослов, проповедник новой жизни. Ох, Ванюшка, Ванюшка! – проговорила она, видимо не смея выказать внутреннюю боль.

Тогда сказал Аким Морев:

– Плохо живете, Елизавета Лукинична.

– Да уж куда хуже: в пропасть летим.

– Почему перестали садить помидоры, огурцы? Ведь, говорят, выгодно было.

Елизавета Лукинична болезненно улыбнулась.

– Да уж как-то сама собой беда налезла, милый человек, не знаю, как вас звать-величать, – заговорила она так, будто выступала на собрании колхозников: взмахивала правой рукой, кому-то грозя кулаком. – Примерно с консервным заводом договор подмахнули власти наши: рамы парниковые завод нам дал, мы ему за это помидоры, огурцы. Года четыре за рамы работали. Ну, у колхозников руки отвалились: кто за так-то работать будет? Окроме того, власти наши у государства кредит огромный взяли на постройку гидростанции. К чему, зачем станция? Народу не сказали. А ее, плотину-то, прорвало. После этого завод стали звать не «консервным», а «констервным», гидростанцию – «гидрой». – И вдруг она заговорила зло: – Эх, крестник! Сбежала бы я отсюда, как и другие, куда глаза глядят, да дочки держут: надо их до дела довести. Учатся. В городе. Хорошие они у меня, работающие. На каникулы летние приедут – в колхозе работают, а кроме этого, травы, коренья собирают. Вон, видишь, на стене? Аптекарю одному в город сдаем: этим кормимся. А сосед наш морских свинок разводит. На крыс похоже. Сдает куда-то в ученое место: этим живет. Другой украдкой сапожничает. Иной валенки катает. А иной базарничает – заразным делом занимается. Да и нам приходится с огородиков все на базар таскать. Стыдно. Да что будешь делать? Косынку вот на нос стянешь, чтобы глаза твои не видать было, и торгуешь. Так и переколачиваемся. Ведь что получается, Ванюшка? Неурожай – хлеба колхозникам нет, урожай – хлеба колхозникам тоже нет.

Аким Морев внимательно посмотрел на нее и, не понимая, спросил:

– Елизавета Лукинична, мне ясно – если неурожай, то хлеба нет. Но почему же, когда урожай, хлеба тоже нет?

– В позапрошлом году был неурожай, мы ничего не получили. В прошлом году был великий урожай... Хлеба хоть топором руби. И опять дали по сто грамм на трудодень. Разве это паек – сто грамм?

– Куда же зерно девалось?

– Под снег: не убрали.

– Что ж, рук не хватает?

Елизавета Лукинична подняла обе руки и сказала:

– Вот две у меня, а ведь их можно превратить в четыре, а то и в шесть. Обезрадили нас.

– То есть пропала радость в труде? – повернувшись к Астафьеву, проговорил Аким Морев и снова к Елизавете Лукиничне: – Обезрадостили, значит? А что же вы, Елизавета Лукинична, не обратились в обком партии, например?

– Эх, батюшка! Обращались... Год, а то больше тому назад. Тайком от властей местных все колхозники под жалобой расписались, направили... этому... как его... Малинову... Секретарю обкома, вон кому. Долго не отвечал на наше письмо. Мы уже думали: «Под сукно поло-

жил»... А он, вот тебе, и нагрязнул – на четырех машинах. Всю улицу запрудили. У нас мысль радостная: «Теперь он нашим властям мозги вправит». – Елизавета Лукинична оборвала рассказ и, видимо намеренно, захлопотала, наливая чай. – Чайку-то! Заболталась я совсем.

– Говори, говори, крестная, – подбодрил Астафьев.

– Да что говорить-то! Всю ночь песняга раздавалась из дома Гаранина, а наутро машины, как утки с озера, снялись и укатили. Только и всего. Мы думали, Малинов местным властям головы пооткрутит, тому же Гаранину, а вышло, Гаранин нам стал ребра ломать... Письмо-то в обком сочинил Яша... Чудин, учитель, коммунист, молодой, положим... Гаранин, Ивашечкин и Семин докопались, кто написал, и взяли Яшу в ежовые рукавицы. У-у-у! Что они с ним сделали: отца-мать вспомнили, деда-бабку вспомнили, прадедушку, прабабушку. И нашли, что прадедушка когда-то путался с цыганами, конокрадством занимался... и давай за это Яше всыпать. Яша было заикнулся: я, слышь, учитель, а не конокрад, так ему и за это... «Отпираешься, слышь». Потом за письмо насели на него... Групповщину, слышь, организовал, склоку, на честных коммунистов клевету накатал, а сам не подписался, темные силы в колхозниках разбудил. И давай, и давай. Потом нам объявили: «На волоске Чудин висит в партии. Сдался, слышь, только тогда, когда сказали ему: «Капитулируй. Не то выбросим из партии». Вон какое слово военное в ход пустили! И Яша капитулировал, признался: антисоветское письмо написал, колхозников смутил, коней красть намеревался, чтоб продолжить дело прадеда, да не удалось: цыгане куда-то сгинули. Расписался, значит, наш учитель Яша во всех грехах и в ножки Гаранину поклонился.

– Да как же это он, да и вы тоже сломились? Да еще в ножки? – спросил Аким Морев.

– Э-э-э, батюшка мой! – воскликнула Елизавета Лукинична. – Когда человек над пропастью висит, он готов таракану в ножки поклониться: спаси! – И зло зашептала, обращаясь к Акиму Мореву: – Вот что понять вам надо, ежели касательство к власти имеете: больно много штукарей развелось! Штукари – Гаранин, Ивашечкин, Семин! Что причиталось нам выдать за труд наш – они вон где сгноили. Во-он! – запросто подталкивая к окну гостя, яростно заговорила она. – Во-он гумно!.. Бухгалтер наш, пузырь, на собрании уверял – сорок тонн там сгнило. Обмолотили мы осенью пшеницу, в кучи ссыпали, а они, штукари, даже не прикрыли ее: так в кучах под зиму и пустили. Кричали мы: убрать надо хлеб. Не на чем, слышь. Не на чем? Да мы, бабы, подолами его перетаскали бы. Отвернулись штукари от требования народного! – угрожающе и гневно добавила она.

Аким Морев постучал в стекло окна, поманил шофера Ивана Петровича и, когда тот вошел, сказал:

– Сейчас же привезите сюда председателя колхоза и председателя сельсовета.

Елизавета Лукинична смертельно побледнела.

– Ну вот – петля мне на шею: сживут они теперь со света и меня и дочек за язык мой. Ох, Ванюшка! Они хотели... хотели, власти-то наши, убрать хлеб с гумна, да это мы... как это – саботировали. Ну, народ озорной. Право же, – говорила она, а глазами молила Акима Морева: «Не погуби. Детей моих пожалей».

Аким Морев подошел к ней, обнял, сказал:

– Это ведь для мышей страшнее кошки зверя нет. А мы с вами не мыши. Спасибо за откровенность. Вы сделали большое дело для своего колхоза. А со штукарями мы проедемся по полям, а потом, будто нечаянно, завернем и на гумно. А сейчас я еще об одном хочу спросить вас. Они рассказали вам о решениях Пленума Центрального Комитета партии?

Елизавета Лукинична умоляюще посмотрела сначала на него, затем на крестника.

– Врать-то я не умею, а боюсь.

– Говори, крестная: Аким Петрович – новый секретарь обкома, – произнес Астафьев.

– Вон кто, – задумчиво проговорила Елизавета Лукинична и некоторое время, колеблясь, молчала, затем решительно: – Скажу! Нет, не рассказывали. Пытались мы узнать, да Гаранин как гаркнул: «Мы – пленум!»...

– Вот как? Ну а газеты вы читаете?

– Где уж? Пытались выписать, так Гаранин сказал: «Лимит запрещает. Ничего, без газет проживете: и без этого, ого, как грамотны». И живем, словно в темной берлоге.

– Так и живете? – задумчиво спросил Аким Морев, обводя взглядом пустые стены избы.

– Так и живем. Стоя на корню... гнием.

Аким Морев сел на лавку и, притянув за руку Елизавету Лукиничну, усадил ее рядом с собой.

– Давайте поговорим, Елизавета Лукинична, как брат с сестрой. В Москве весной собрались на Пленуме ваши, родные вам люди, такие же, как и ваш покойный муж.

Елизавета Лукинична, будто не Акиму Мореву, а многим, ударяя кулаком в ладонь, сказала:

– Да если бы он жил, то на всю страну метнул бы слова гневные. Как это так, при советской власти – и в пропасть летим? Чего глядите, власти наши дорогие?

– Вот Пленум и сказал на всю страну колхозникам: надо создать все условия, чтобы колхозники взялись за колхозные поля, за колхозное животноводство, за овощеводство. И для этого все условия уже создаются. – Тут секретарь обкома простыми словами изложил программу действий, вытекающую из решений Пленума Центрального Комитета партии, ожидая, что это поднимет настроение хозяйки, а та все ниже и ниже опускала голову и наконец произнесла:

– Этак бы хорошо! Духом всполошится народ. – И безнадежно: – Только Гаранин поломает нас, как поломал учителя Чудина... и пальцем вы до него не дотронетесь.

– Понадобится, дотронемся и кулаком, Елизавета Лукинична.

– Будете обмусоливать лет пять, а Гаранин за это время кишки из нас вымотает.

5

Когда Ивашечкин и Гаранин пришли, Аким Морев, сев в машину, сказал:

– Хотим посмотреть ваши поля. А как без хозяев?

– Гаранин, лицо которого после этих слов еще больше сморщилось и стало похоже на пересушенное яблоко, был человек тертый и потому, забежав наперед, пренебрежительно произнес:

– У нас не поля, а горе: того и гляди, покروются ромашкой, васильками и всяким прочим. Венки бы только плести. Оно так и есть: приедет ученая молодежь на каникулы и давай венки плести да песенки распевать. Вон чему в городе учат! У той же Елизаветы Лукиничны дочки. Прикатят из институтов разных и пошли травку-муравку собирать да спекулировать: шелковые платья на травке-муравке наживать. А матушка-то ихняя забыть никак не может, что раньше председателю колхоза была, а теперь председатель вот – герой заслуженный, Никанор Савельевич. – Гаранин, видимо, намеревался ткнуть Ивашечкина в плечо, но пьяная рука промахнулась, и палец его вонзился в шею Ивашечкина.

– Угу. Что и говорить, – робко подтвердил тот, отклоняясь от пальца Гаранина.

В машине пахло водкой. Аким Морев подумал: «Только мы от них отвернулись, как они уже набрались... Обрадовались: ловко выпроводили секретаря обкома!» И спросил:

– Значит, наговаривают на вас? Сами работать не хотят, спекуляцией занимаются, а на вас наговаривают?

Гаранин вскинул голову.

– Сплошные саботажники. Подавай сладкий пирог... и все тебе. Я вот в семнадцатом году, к примеру, с пушкой в революцию пришел: артиллерист. На Волге беляков громил, а меня всякий сопляк учит, как и что. Я, бывало...

– Тарас Макарович, – перебил его Ивашечкин, – что ты завел свою затяжную? Ты ее потом, при случае, допьешь... то есть, извиняюсь, допоешь.

– Ну, ладно, пусть при случае, – согласился Гаранин, вытирая пальцем губу, будто расправляя усы.

Поле яровой пшеницы было засеяно рядовыми сеялками аккуратно, но изреженно.

Выйдя из машины последним, Астафьев глянул на это изреженное поле и произнес:

– Как волосенки на голове старика. У нас колхозники сеют вдоль, а потом поперек. А у вас что ж?

– Так ведь вам государство отваливает, ого! А у нас и семян-то тью-тью. – Гаранин махнул рукой наотмашь, точно палкой сбивал крапиву.

– Нашим колхозам государство ничего не отваливает. Это вы зря, – проговорил Астафьев и еще злее добавил: – Что же директор МТС смотрел? Как он позволил производить такой изреженный посев?

И Гаранин, ухмыляясь, облизывая губы пьяным языком, сказал:

– У нас не директор, а сплошной гнев: как что насупротив скажешь, он – фырк, тельцем своим жирным в автомобильчик плюх – и укатил.

Такой же изреженной оказалась и озимая пшеница, а на боковых степных дорогах колыхалась сухая прошлогодняя высокая полынь. Подойдя к одному из кустиков полыни, Астафьев, все больше и больше раздражаясь, сказал, обращаясь к Гаранину:

– Вы знаете, сколько семян на этом кусте?

– Не считал. Упаси бог! – И Гаранин захохотал. – Вот бы еще чем заняться! Итоги подбивать, сколько семян на полыни. На то я в революцию с пушкой пришел, чтобы семена на полыни считать? Упаси бог!

– Никто вас не упасет. – И, уже обращаясь к Ивашечкину, Астафьев пояснил: – На этом кусте не меньше пяти тысяч семян. Представляете? А у вас все дороги поросли полынью. Дунет ветер – и семена на поле. Вовремя надо было скосить полынь, а с ней вместе и другие сорняки. Скосить и сжечь. Ведь это зараза. Чума полей. Понимаете?

– Да. Ясно. Понимаю. Тарас Макарович, он... сельское хозяйство не его дело: у него, слышь, печать сельсовета. Вот что бережет. На дело это, слышь, я гожусь.

– Ни на что вы не годитесь! – резко произнес Аким Морев и первый пошел к машине.

Вскоре они очутились на гумне. Здесь на току в кучах лежала проросшая пшеница.

– Сколько тут сгнило зерна? – спросил Аким Морев.

– По бухгалтерии, сорок тонн, – ответил Ивашечкин, весь сжавшись и став похожим на мяч, из которого выпустили воздух.

– Почему не вывезли?

– Не на чем было. Совались туда-сюда, и вот стихийное бедствие.

– Вы с государством осенью полностью рассчитались?

– Окончательно.

– Так почему же вы этот хлеб тогда же не роздали крестьянам на трудодни? Они принесли бы сюда весы и на плечах перетаскали бы зерно домой. Как же это вы?

– Да так уж... бедствие... стихийное, товарищ секретарь, – отводя глаза от куч, смиренно повторил Ивашечкин. – И нам влетело: на райкоме по выговору вlepили.

Астафьев взорвался:

– По выговору? Вы что? Забыли, как в былые времена крестьяне хлеб называли? Тело Христово! Тело... и за великий грех считали сорить его.

– Дурманом были заражены, – нахально заявил Гаранин с явным расчетом сбить Астафьева.

– Дурманом? Нет! Так говорили крестьяне не потому, что очень уж верили в Боженку, а потому, что знали: хлеб – это их труд, без хлеба они погибнут голодной смертью. А вы сгноили сорок тонн, то есть две тысячи четыреста пудов, и жалуетесь, что колхозники собираются бежать на Орловщину. Это вы своими пакостными делишками гоните их с колхозных полей!

– Ну, вы не имеете права так разговаривать со мной: я с пушкой пришел в революцию и громил беляков на Волге, да и у вас в районе строил социализм, что и теперь неотступно делаю! – возмущенно закричал Гаранин и даже замахнулся, точно собирался ударить Астафьева. – Я вас могу привлечь к партийной ответственности за оскорбление моей личности!

– Не привлечешь! Испугаешься: дрянненькие твои делишки вскроются... Стихийное бедствие? Знаю, что это за стихия! – разгорячась, закричал и Астафьев.

Но тут вступился Аким Морев. Уничтожающе глядя на Гаранина, он резко заговорил:

– В революцию пришел с пушкой и громил на Волге беляков? Хвала и честь вам за то. А ныне такими вот делами, – он показал на кучи гнилого хлеба, – кого вы громите? Колхоз! Поехали, Иван Яковлевич. А они пусть пока тут показнятся, ежели хоть капля совести у них осталась. – И, сев в машину рядом с Астафьевым, Аким Морев с горечью заключил: – Заразным делом занялись: базаром. Помните, как сказала Елизавета Лукинична? Да при таком руководстве базаром поневоле займешься, самому есть надо, детей кормить, обувать, одевать, учить надо... – И у Акима Морева на этот раз из глаз брызнули не слезы, а кипящая на душе ярость.

Астафьев подумал: «Тогда слезы брызнули, произнес: “Ветром надуло”. А теперь чем надуло?»

6

Покинув на току Гаранина и Ивашечкина, Аким Морев и Астафьев заехали к учителю Чудину, предполагая, что тот живет на квартире при школе. Но оказалось, что Чудин давно уже перебрался в домик вдовы Матрешы Грустновой, потерявшей мужа в годы Отечественной войны и ныне работавшей в бригаде Елизаветы Лукиничны. Домик Матрешы стоял на конце села – аккуратненький, веселый, но крыша была покрыта почерневшей соломой, и потому домик напоминал разнаряженного человека, на голове у которого кошелка.

Учитель Чудин переселился в домик Матрешы вот как. После того как Гаранин громкогласно возвестил: «Учительшка капитулировал и остался у разбитого корыта», – Чудин еще не пал духом. Он рассуждал: «Партия оставила меня в своих рядах, значит, я должен трудом доказать, что достойный ее сын». И потому повел более активную общественную работу: беседовал с колхозниками, выступал на их собраниях. Но Гаранин всюду говорил, что учительшка – скрытый враг, всякое его выступление мастерски извращал, выдергивая из него ту или иную фразу, посылал анонимки в райком, в обком, в областную газету и даже в Министерство просвещения.

Чудин в то время был не только преподавателем математики, но и директором десятилетки. И вот в районной газете стали появляться заметки о том, что директор Чудин плохо ведет хозяйство школы, отвратительно преподает, зазнался, не помогает коллективу учителей, оторвался от него. Потом в областной газете была опубликована как бы сводная статья, в которой, по выражению Гаранина, по Чудину ударили из пушки. Было сказано, что «Чудин находился в плену у гитлеровцев и до сих пор скрывал это свое антипатриотическое преступление. И почему облоно допускает такого прощелыгу до воспитания наших детей?».

И Чудина начали прорабатывать на учительских собраниях... А дальше все как по поговорке: «Пришла беда, отворяй ворота». Чудина лишили права преподавать. Жена у него была тоже учительница. Женщина не из важнецких. Как только Чудина начали прорабатывать, она

заявила: «Тони сам. Меня на дно не тащи. Я жить хочу». А когда его лишили права преподавать, она вспорхнула и улетела куда-то в Сибирь. Его же вскоре выселили из школьной квартиры, и он, как бездомный, оказался на улице. Колхозники, запуганные Гараниным, боялись приютить его, украдкой подкармливали, по ночам пускали в хату погреться... И он падал духом... Тогда-то и «подобрала» его Матреша, с которой он когда-то вместе учился в десятилетке. Она убедила его поселиться в ее хате и стала ухаживать за ним, как за ребенком...

Аким Морев и Астафьев вошли в домик Матрешы. Тут было пусто: как и у Елизаветы Лукиничны, стоял стол, ничем не покрытый, в углу – огромная кровать красного дерева, видимо случайно приобретенная. На ней старенькое, из разноцветных клиньев одеяло.

– Наверно, оба на огороде, – сказал Астафьев и через двор повел Акима Морева на огородик.

Сарай, который им пришлось пройти, покосился, соломенная крыша осела.

Отворив заднюю калитку, в которую так и хлынуло солнце, Астафьев, согнувшись, нырнул в нее; то же проделал и Аким Морев.

Огородик спускался к берегу речушки Иволги, отделяясь от соседних огородов не плетнем, а высокой сухой крапивой, от корневищ которой уже тянулись молодые побеги.

Чудин и Матреша старательно пололи грядки ранних помидоров; на кустах виднелась сизоватая завязь.

– Вот где основной прокорм, – как бы мимоходом кинул реплику Астафьев.

Аким Морев уловил смысл этих слов и посмотрел на соседние огородики, квадратами примкнувшие друг к другу. На них тоже копошились люди. Огородики обработаны старательно и даже красиво.

«Значит, люди умеют работать, – заключил Аким Морев. – Значит, здесь основной прокорм? Но ведь эти лоскутья земли принадлежат не колхозу, а каждому из них, то есть тут своеобразное индивидуальное владение. Социалистические производственные отношения – это в первую очередь коллективизм в труде. А какой же тут коллективизм?»

Матреша, женщина моложавая, небольшого роста и вся какая-то округленная, выпрямилась. Она взъерошилась, как птица, защищающая птенца, и кинулась навстречу незваным гостям, звонко выкрикивая:

– К властям? В правление ступайте.

– Нет, мы к Якову Ермолаевичу. Ты уж, Матреша, даже и меня не признаешь, – проговорил Астафьев, обходя расхохлившуюся Матрешу.

– Его дома нет, – хриповато, не разгибаясь и из-под низу всматриваясь в пришедших, грубовато произнес Яков Чудин и склонился еще ниже. Казалось, что, если бы это было возможно, он скрылся бы, как букашка, в кусте помидоров.

– Вот до чего дошел: от доброжелателей прячешься! – И Астафьев шагнул к Чудину, говоря: – Мы с хорошим к вам заехали.

Да, вот так, «с поломанной душой», по его собственному выражению, и живет Яков Чудин. О чем ни спрашивал его Аким Морев, бывший учитель отвечал неопределенно, туманно и только на прощание с великой тоской произнес:

– Мне бы теплое слово от партии.

Акиму Мореву, пока он слушал рассказ Елизаветы Лукиничны о Чудине, казалось, что учитель еще молод. А теперь он видел: стоит перед ним согбенный человек с выцветшим, морщинистым лицом, левая щека дрожит, а от переноса кверху, через весь лоб, легла складка, похожая на рубец.

– Что у него... лоб-то? – спросил Аким Морев, когда машина выскочила из села.

– В плену фашисты пытали: опутали голову цепью и сжимали до тех пор, пока череп не затрещал.

– И не сдался?

– Не сдался!

– Значит, человек с металлом в груди... а тут Гаранины загоняют его на край пропасти, – проговорил Аким Морев, не отнимая от колен напряженных кулаков. Глядя куда-то потемневшими глазами, он думал: «Но как же мы-то? Мы-то как допустили до этого? В государстве, где все строится для честного человека, во имя человека, Чудина столкнули в яму?! Целый колхоз столкнули в яму? Что же это такое?»

7

Побывав в ряде колхозов Раздолинского района и во многих местах найдя то же, что и в колхозе «Партизан», Аким Морев и Астафьев вечером прибыли в районное село Раздолье. Было уже поздно. Сторож, сидящий при входе в здание райкома партии, сказал:

– Ростовцев? Марк Маркович? Лекцию пошел преподавать во Дворце культуры. Актив колхозный со всех концов созвал. Актив, значит. Как есть весь приход.

– О чем лекция-то, дедушка? – спросил Астафьев.

– О переходе, – свертывая козью ножку, ответил сторож и поднял на Астафьева смеющиеся глаза. – Все переходим и переходим: оттуда – сюда, отселе – туда. Все переходим... а годики летят. Я вот в колхоз-то, помню, ворвался... ядрен был... а теперь гляди чего – мочалка.

– А где же дворец?

– Рядом. Я сейчас запру райком и тоже во дворец перейду. Все переходим и переходим. Вот как!

Морев и Астафьев вошли в зал, когда лекция уже читалась. Они присели в последнем ряду, никем не примеченные, и стали вслушиваться.

Ростовцев был в черном чистеньком костюме, в белой рубашке, с аккуратно подвязанным галстуком, весь, казалось, только что отутюженный. Руки у него бледно-белые, с тонкими пальцами. Костюм разительно выделял его среди слушателей, одетых непритязательно. В обкоме Ростовцев считался аккуратистом: на каждый запрос отвечал пунктуально, обязательно ссылаясь на «исходящий». А в народе его звали Прекрасным статуйем. Сейчас лекцию он читал на тему о постепенном переходе от социализма к коммунизму, пересыпая ее цитатами, и люди слушали с большим вниманием.

Вдруг колхозник, сидящий впереди, повернулся и сказал другому колхознику, соседу Акима Морева:

– Слышь, Степан? Хорошо-о-о. Куда мы махнули! Индустрия-то какая у нас, транспорт, авиация! Гидроузлы какие строим! А хлеба! Вон сколько собрали. А? Слушаю, и душа радуется: сила мы. – И снова принялся слушать Ростовцева, но вскоре опять повернулся к соседу, шепча: – Степа! Радуюсь я общему успеху и в тот же миг думаю: «А где же мы? Чем бы я стал кормить ребятишек, ежели бы моя жена по осень не собрала с огорода семьдесят восемь тыкв?»

Аким Морев вздрогнул. «Семьдесят восемь тыкв! А ведь этот человек, по всему видно, честный, преданный партии, верящий в грядущее», – мелькнула у него мысль, и он запоминающе посмотрел в лицо колхозника...

Вскоре лекция закончилась, и слушатели молча, словно чем-то удивленные, хлынули со второго этажа на улицу, утопая в ночной темноте. С ними вместе вышли Аким Морев и Астафьев, решив у парадного подождать Ростовцева. Но народ разошелся, и тот же старичок вышел прикрыть двухстворчатую дверь, а Ростовцева все не было.

– Дедушка, – торопливо спросил Астафьев, – где же Ростовцев?

Сторож принял игриво-надменный вид.

– Ростовцев где, товарищ? Правительственным ходом ушел отселя. А как же?! Статуй, а передвигается самостоятельно.

Горестно посмеиваясь, они направились в райком партии.

...Все в кабинете у Ростовцева аккуратненько расставлено, и так же аккуратненько лежат на столе скрепленные булавочками бумажки.

Аким Морев рассказал Ростовцеву о своем объезде колхозов района, закончив такими словами:

– Плохие там дела, особенно в колхозе «Партизан».

– Что ж, – поистине с холодностью статуи заговорил Ростовцев. – Председатель сельсовета Гаранин – член партии с тысяча девятьсот семнадцатого. Известен в Поволжье. Предколхоза Ивашечкин – с тысяча девятьсот тридцатого. Бухгалтер Семин, верно, помоложе – с тысяча девятьсот сорок шестого года. Три коммуниста руководят.

– Руководят ли?

– А что?

– Не попойками?

– Сигналов у нас нет. Да. Нет.

Аким Морев, чтобы сдержать рвавшиеся злые слова, глубоко вздохнул и, насильственно улыбаясь, сказал:

– Хлеб-то сгноили!

– Стихийное бедствие, Аким Петрович. Акт прислали, – все с той же холодностью статуи ответил Ростовцев.

– Вы дело передайте прокурору. Тот, я уверен, присланный вам акт перевернет и правду откроет.

– Хорошо. Но вы пришлите решение обкома... или сами напишите, Аким Петрович, – моргая чистенькими глазками, промолвил Ростовцев.

Тут Аким Морев не выдержал, сказал резко:

– Послушайте, вы! Читаете лекции о постепенном переходе от социализма к коммунизму и не видите, что у вас в районе подрываются социалистические производственные отношения. Гаранины их рушат, а вы в коммунизм собрались. Да кто вас там примет с такими колхозами, да еще с жуликами во главе их? Читает лекции, а...

– Что ж? Не читать, стало быть? – надувшись и сложив ядерные губки бантиком, перебил Ростовцев.

Секретарь обкома на какую-то секунду замолчал, затем ответил:

– Вы сначала изучили бы то, что творится в колхозах, затем вышли бы на трибуну и сказали: «Да. Страна идет от социализма к коммунизму, но нас с вами, друзья, туда не пустят. Давайте работать, исправлять дела»... Вот если бы вы так сказали, от вашей лекции была бы польза... а то «семьдесят восемь тыков». – И, сухо попрощавшись, Аким Морев покинул кабинет Ростовцева.

Идя из райкома, Аким Морев думал: «Как же так? Столько лет Ростовцев управляет районом. Верно, не курит, не пьет и, видимо, не блудит, но чем он лучше того, который пьет, курит и блудит? Того-то, пожалуй, скорее увидят, “раскусят”, а вот такого чистенького, аккуратненького, как Ростовцев, сразу-то и не заметят: не к чему придаться – все шито-крыто, формальности соблюдены... А в результате целый район отброшен вспять на десяток лет. Статуй? Почему статуй? Тот стоит себе и стоит, а этот? А этот мертвит все вокруг. И снять этого статуя порою так же трудно, как и каменного истукана... А снимать придется».

Когда они сели в машину, Астафьев предложил поехать в Нижнедонской район, центр которого находился в тридцати километрах от села Раздолье. Но Аким Морев, сам не отдавая себе в этом отчета, почему-то не мог сразу покинуть Раздолинский район. Так, очевидно, бывает с мастером-столяром: уж, кажется, закончил шкатулку, а все чувствует, чего-то не доделал, и это что-то снова и снова зовет его к шкатулке. И Акима Морева что-то звало вернуться в Раздолинский район, особенно в колхоз «Партизан», в хату к учителю Чудину. Вот почему он

сказал Астафьеву, что настроение у него «неважнецкое» и поэтому не лучше ли переночевать где-либо в степи, а уж утром отправиться в Нижнедонской район?

Астафьев, поняв, что секретарь обкома хочет подумать у костра, согласился, и шофер Иван Петрович повел машину к Дону.

На обрывистом берегу они развели костер.

Иван Петрович достал из чемодана хлеб, закуску, положил все это на разостланную газету, а сам, закусив, пошел к машине.

– Усну маненько: намотался сегодня – руки гудят.

А Астафьев, чтобы оставить Акима Морев наедине с самим собой, проговорил:

– Сетей нет, а то бы раскинуть: рыба тут первейшая, Аким Петрович. Да я сейчас пройду, может, с рыбаками встречусь, половим. В случае чего крикните меня. В эту пору далеко слышать.

Аким Морев через пламя костра посмотрел на Дон.

Казалось, могучая река заснула: даже у самого берега не слышалось того характерного шуршания воды, какое бывает в этот час на Волге.

– Тихий Дон. Поистине тихий, – прошептал Аким Морев, и вдруг из его глаз все скрылось: река, блещущая в темноте, костер, лакированная ночь. Вспыхнул солнечный яркий свет, заливающий порядки изб в колхозе «Партизан». Елизавета Лукинична, тройка штукарей... и учитель Чудин.

«Какие замечательные люди... та же крестная Астафьева, тот же Чудин и его новая жена. Да и сколько мы видели таких же замечательных людей в других колхозах района. А их штукари и “статуи” загнали в щель. – И секретарь обкома вспомнил то, что на прощание сказал Чудин: “Мне нужно теплое слово партии”. – Теплое слово... Он окрепнет, поднимется на ноги. А народ? Ему тоже нужно теплое слово. Но ведь Пленум Центрального Комитета партии не только сказал такое теплое слово колхозникам, но и послал в деревню огромную технику, десятки тысяч передовых людей – агрономов, зоотехников, инженеров, механизаторов...»

И им снова овладело глубокое раздумье: глаза потемнели, лицо покрылось тонкой сетью морщин, а крепко сжатые кулаки уперлись в колени.

«Почему такое творится в районе и, главное, в колхозе “Партизан”? Так встал вопрос. На него можно было бы ответить просто: руководство захватили дрянные люди, им невыгодно проводить в жизнь решения Пленума, материально невыгодно. Это пробудит контроль со стороны колхозников. Но тут же возникло противоположное суждение: ведь Гаранин когда-то “с пушкой пришел в революцию”, Ивашечкин воевал на фронте и потерял руку! А Семин? Ну, это человек неизвестный, возможно даже темный. «А у тех-то двоих прошлое хорошее! Что же случилось с ними? Какие обстоятельства разбудили в них дрянцо?» И снова другая мысль: «Как может в человеке, который «с пушкой пришел в революцию», появиться поганое? Ведь Гаранин тогда не на бал явился, а вступил в бой с врагом. Ему грозила виселица... И вот теперь появилась в нем пакость, и колхоз рухнул, а учителю Якову Чудину переломил хребет... А колхозники... что же они-то? Молчат. Почему? Сила отступила перед штукарями? Нет. Тут не только штукари, но что-то еще глушило народную силу. Но что? Кто?

Хлеб! Хлеб! Кучи гнилого хлеба. Сорок тонн... две тысячи четыреста пудов. Вместо того чтобы раздать колхозникам, хлеб сгноили, и этим, как дубовой палкой, ударили по колхозникам... Мать запирает в сундуке хлеб от своих ребятишек. Катастрофа? Нет, Астафьев неправ. Права Елизавета Лукинична. Как она сказала: “Стоя на корню... гнием”? Значит, корни из колхоза еще не выдрали... значит, иного строя люди не хотят... “Урожай – а нам хлеба нет, неурожай – хлеба нет... Обезрадовали все”... Петин, Петин! Возможно, ты и прав, Петин! По бумажкам от уполномоченных нащелкали валовой сбор урожая в двести миллионов пудов, а на деле? Сгноили, расхитили хлеб, как вот эти. Но почему же тогда не расхитили его в районе Астафьева? А возможно, и там все дутое?»

И тут Аким Мореву показалось, что он говорит своим сотоварищам по работе:

– Если дело обстоит так во всей области, то нас, руководителей, надо беспощадно бить: понадеялись на то, что решение Пленума само по себе проникнет в сознание колхозных масс. Пошумели на собраниях, заседаниях, в газетах и вообразили, что все пойдет как по маслу. Забыли, что говорил Ленин... Идея становится силой, когда ею овладевают миллионы. Миллионы! А здесь по-своему овладели решениями Пленума Гаранины. Но как же случилось так, что между Центральным Комитетом партии и народом встали штукари типа Гаранина? Убрать их?! Конечно. Но разве только в этом дело? Что-то еще есть. А что?

Вот до этого «что» секретарь обкома никак не мог еще добраться и с этим вопросом мысленно обратился уже туда, в Москву, в Кремль.

Решения Пленума Центрального Комитета партии были приняты единогласно, но не единодушно: члены Центрального Комитета партии, десятки лет проработавшие в республиках, краях и областях, «знающие жизнь с подошв», требовали решительной ломки устаревших норм, форм, положений, что и легло в основу решений Пленума. Но часть по тому времени авторитетных политических деятелей упорно охраняла существующее: старые нормы, положения, инструкции, закон, – пугая всех тем, что «если это завоевание будет даже в какой-то мере поколеблено, оно нанесет непоправимый ущерб социалистическому государству». «В течение двух-трех лет мы создадим изобилие продуктов питания» – так заявил один из этих «авторитетов», Муратов. Но большинство участников Пленума высмеяли этакую прыть, это сейчас мог бы сделать и Аким Морев, приоткрыв быт колхозников Раздолинского района.

«Статуи! – мысленно произнес он. – Такие же статуи, как и Ростовцев, как и наш Сухожилин. Гремят о переходе от социализма к коммунизму и не видят, не хотят видеть того, что творится в жизни. Ожирели, духовно ожирели. И счастье наше, что к руководству пришли доподлинно народные деятели, знающие не только теорию, но и жизнь всех уголков страны. Они не только единогласно, но и единодушно проголосовали за решения Пленума». И тут Аким Морев снова произнес громко:

– В течение двух-трех лет создать изобилие продуктов? С кем? С Гараниным, Ростовцевым? Нет! Таких надо отстранять. Но в этом ли только дело? Надо устранить причины, породившие гаранинщину.

Так напряженно в эти часы думал секретарь обкома и на заре услышал, как чуть в стороне, в овраге, что-то зашуршало, иногда очень тихо, словно ветер перегонял сухой лист, а иногда с треском, будто проходила отара овец. Но странно, среди этого непонятного шороха нет-нет да и слышались то блеяние козы, то лай собаки, а иногда и приглушенный плач ребенка.

«Что это? Галлюцинация? Еще этого не хватает!» – подумал Аким Морев, но шорох в овраге усилился: уже отчетливо стал слышен людской говор, топот ног, блеяние коз, лай собак.

«Да нет, это уже не чудится», – решил Аким Морев и, поднявшись от потухшего костра, направился к оврагу и тут увидел навеки поразившую его картину.

По тропам оврага, видимо сухого русла рукава Дона, шли люди, неся на плечах узлы, из которых торчали ухваты, сковородки, чайники. У иных женщин на руках грудные младенцы, иные на веревочках ведут коз, а за родителями семянат босоногие ребяташки, подергивая худыми плечиками: на заре зябко.

Да. Да. Идут оврагом, а ведь за его ребрами просторные, ровные, как стол, степи. Нет. Идут не большой дорогой, а оврагом, украдкой, как будто удирают от чего-то такого гадкого, свершенного ими же, после чего стыдно людям смотреть в глаза. Да и глаза. Они вовсе не злые. В них нет ненависти. Каждый идущий, взрослый и малый, поравнявшись с кустом, поворачивает голову и смотрит на Акима Морева раздумчиво, как бы говоря: «Зачем это?» «Кому это надо?» «Во имя чего нас оторвали от родных мест?»

И Аким Морев, ринувшись с обрыва в овраг, крикнул:

– Куда это вы?!

Люди приостановились, а те, кто уже прошел дальше, повернулись.

– Куда это вы? – повторил Аким Морев. – И откуда?

– А тебе чего, мил или зол человек? – Из толпы выделился старик крупного телосложения и, опершись на суковатую палку, встал перед Акимом Моревым. – Паспорта? Нет их у нас. А куда идем? К нашим братьям – рабочим... Автомобили они мастерят... для вас... А мы привычны... пешочком. Ну, и что тебе от нас?

– Я секретарь обкома Морев. Ваш слуга.

– А-а-а! – понеслось из толпы, а когда гул смолк, старик сказал:

– Вон кто? А мы из «Партизана»... да по дороге еще кое-кого из соседних колхозов прихватили. – И старик, упираясь на палку, положил голову на руки – крупные, жилистые.

В дальнейшем выяснилось, что, как только машина с Акимом Моревым и Астафьевым скрылась из села, Гаранин всем колхозникам объявил:

– Секретарь обкома товарищ Аким Петрович Морев всю полноту власти передал мне... так что – не рыпайтесь.

– И приступил заново хребты наши ломать. А мы люди советские и не желаем, – заявил старик. – А ты что хочешь?

– Я? Идите домой.

– В пасть к Гаранину? – И старик приподнял палку.

– Пасть-то у него мышинная, – сказал Аким Морев.

– А грызет. Мышь посади за пазуху – грызть будет. А тут мышь властью облекли. Это ты понимаешь, секретарь большой руки? – И старик снова угрожающе потряс палкой. – «Колхозный Пленум» добра нам желает, а вы – власть Гаранину.

– Ступайте домой. Я заеду... Уж что-что, а мышь вытряхнем. Ступайте, – произнес Аким Морев и направился к костру.

Глава пятая

1

Где-то за Волгой просыпалось солнце. Его самого еще не было видно. Оно еще скрывалось за необъятной далью, но лучи уже вонзились в небо, сгоняя с него мрак ночи, заливая ободки редких облаков оранжевыми и синеватыми красками. И небо не скупилось! Оно тоже сыпало краски на травы степей и, казалось, будило землю. Поднялся ветерок, и Дон завихрился беляками-снежинками, отражая в себе восход.

Астафьев выбрался из-под обрывистого берега Дона и, сияя, как заря, показал Акиму Мореву вязку крупных судаков.

– В путь-дорогу, Аким Петрович! – весело крикнул он. – В Нижнедонскую станицу, а там – уху. Эх! Молодцы какие попались!

– «Молодцы» хороши, но уху – в другом месте.

– Где же? В степи? У нас ни котелка, ни приправы, – запротестовал Астафьев.

Понимая рыбацкий зуд Астафьева и его желание, чтобы уха была сварена по всем рыбацким правилам, Аким Морев все-таки неприступно сказал:

– Сейчас – в колхоз «Партизан». Хочу узнать у вашей крестной, был ли Ростовцев хоть раз в колхозе.

– Статуй? Не был. Знаю.

Аким Морев, конечно, умолчал о том, что властно тянуло его в колхоз «Партизан». Секретарь обкома чувствовал себя, пожалуй, так же, как доктор, покинувший тяжелобольного и в пути понявший, что поставил больному неправильный диагноз. Об этом Аким Морев не хотел говорить Астафьеву и настойчиво повторил:

– Нет. В «Партизан». А уж оттуда к вам в станицу. Рыба не пропадет.

...На улицах колхоза «Партизан» было необыкновенно тихо, словно все жители от мала до велика покинули село: калитки почти всюду открыты, бродят взлохмаченные куры, петухи, кое-где бегают поросята, с подвизгиванием роясь в придорожнике.

Машина остановилась у двора Елизаветы Лукиничны.

Астафьев встревоженно спросил:

– Да куда же все подевались? На работе? Но почему даже ребятишек и стариков не видно?

Аким Морев тревожно подумал: «Значит, не вернулись, не послушались моего совета», – и посмотрел вдоль улицы.

Около правления колхоза неподвижно, полукругом стоят люди, взрослые и малые.

– Видимо, митингуют. Поехали туда, Аким Петрович! – предложил Астафьев.

– Не будем шуметь, нарушать собрания. Пойдем пешком. – И, сказав Ивану Петровичу, чтобы тот подождал у дома Елизаветы Лукиничны, Морев первый зашагал к толпе.

Еще издали они услышали прерывающийся голос Гаранина. Он что-то выкрикивал, кому-то грозил, делая длинные паузы... Вот он уже и сам стал виден на крыльце. Вскинув кулаки и потрясая ими, ораторствует:

– Я в семнадцатом году с пушкой пришел в революцию и громил беляков и всякую прочую мразь-пауков! И сейчас скажу: дави всякую прочую мразь-тараканов, остатки капитализма. Хватит, уговаривали-говорили, теперь пора действовать. Всякому, кто нарушит путь к коммунизму, одно пропишем: дави его до той поры, пока из него икра не полезет.

Рядом с Гараниным стоял желтоватый, полный и круглый, как барабан, бухгалтер, а чуть в стороне смущенный председатель колхоза Ивашечкин.

Если бы Акима Морева спросили потом, отдавал ли он себе отчет в своем поступке, он, вероятно, ответил бы: «Все делал не помня себя». Вбежав на крыльцо, он грубо оттолкнул Гаранина.

Появление на крыльце нового человека, конечно, было необычайным, и, однако, лица у колхозников не дрогнули, а глаза смотрели так же, как у людей там, в овраге, – раздумчиво-грустно, как бы говоря: «К чему это?» «Зачем это?»

Секретарь обкома взглядом обежал лица колхозников и задержался на глазах Елизаветы Лукиничны – больших, осмысленных и тоже грустно-задумчивых. Он чуть не крикнул: «Братья и сестры!..» – но сдержался и начал просто:

– Мы, то есть я, секретарь Приволжского обкома партии, и Иван Яковлевич Астафьев, известный вам секретарь Нижнедонского райкома, были у вас. Что ж спрашивать вас о том, как живете? По вашим глазам вижу, они отвечают: «Да уж куда хуже, товарищ секретарь обкома». Плохо живете! Хуже некуда! И виновники такой жизни – вот эта тройка. – Аким Морев передохнул и не помня себя выкрикнул: – Выбирайте председателя колхоза... Сейчас же! Того, кому доверите себя, свой труд, свою судьбу.

Люди стояли не шелохнувшись, словно окаменев. Казалось, они перестали дышать. Только все тот же старик, опираясь на суковатую палку и положив на нее обе руки, а на руки большую седую голову, раскачивался, впившись глазами в Акима Морева. Затем глухо произнес:

– Видишь ведь, сынок, глотку нам, как гусакам, перехватили: не пикнем.

– Кого бы вы хотели поставить во главе колхоза? – спросил деда прерывающимся голосом Аким Морев, ощущая, как у него самого зазвенело в ушах. «Опять высокое давление... черт бы его побрал!» – мельком подумал он, ожидая ответа от старика. Но тишину первым хриповато нарушил Гаранин:

– Командуете? Указание Пленума ЦК попираете, нас, избранных, под овраг: пятки вам не лизали, а кидали правду в глаза!

Астафьев вцепился в правую руку секретаря обкома, угадав, что тот способен сейчас наотмашь ударить Гаранина. Затем сказал Гаранину:

– Таких, как вы, не надобно сваливать в овраг, вы оттуда и не вылезали, – и обратился к колхозникам: – Секретарь обкома советует вам: выбирайте того, к кому у вас душа лежит.

А люди все-таки молчали: то ли для них было неожиданным предложение секретаря обкома, то ли они были настолько укрощены Гараниным, что онемели. Только старик, приподняв голову, снова глухо произнес:

– У нас кишки повымотаны, а секретарь-то партийный не знай еще какой: мил или зол человек? Был у нас тут... Малинов... – И опять, покачиваясь, опустил голову.

– Чудина им в руководители! – выкрикнул Гаранин и дробно засмеялся. – Вот бы! Глядишь, конокрадов организовал бы.

Аким Морев, стараясь унять в себе разбушевавшееся негодование, необычайно тихо произнес:

– Мы были у учителя Чудина. На прощание он нам сказал: «Мне нужно теплое слово партии». Я заявляю ему от имени обкома: такое слово мы ему даем.

И вдруг лица колхозников залились улыбками, спины распрямились, и тут же вверх взвились сотни корявых рук, и детские тоже, а по улице понеслось одно слово:

– Чудина! Чудина! Чудина!

Чудин, согбенно стоявший чуть в сторонке, поддерживаемый Матрешей, разогнулся, открыто посмотрел в глаза Акима Морева и по-мужски, навзрыд, расплакался.

2

С огромной тревогой покидал Аким Морев колхоз «Партизан»: в соседнем, Нижнедонском районе он ожидал столкнуться с такими же колхозами.

«Если это так, то и Астафьев недалеко ушел от Ростовцева», – думал секретарь обкома, чувствуя, что, несмотря на жаркое солнце, его пробирает озноб.

И неожиданно все резко, до странности изменилось, как бывает во сне. Вдруг потянулись лесные полосы – акация, тополя, а их подпирают молодые дубки; в квадратах лесных лент – густая, уже набухающая колосом озимая пшеница; раскудрявилась и яровая, и особенно красив посев гречи; буйно тянутся к солнцу клевер, люцерна; виднеются поля молодой золотисто-зеленой кукурузы, а подсолнухи, посаженные квадратно-гнездовым способом, напоминают физкультурников, выстроившихся для парада на площади. На буграх же, или, как всюду принято говорить, на «бросовых землях», раскинулись виноградники, сады. И все поля заняты. Все. Нет и клочка с прошлогодней стерней.

Аким Морев смотрел на все это машинально: его мысль работала в другом направлении. Ему было приятно, что колхозники избрали председателем учителя Чудина, человека безусловно честного, вместе с ними много перестрадавшего. И тревожило: своим самоуправством он, Морев, нарушил принцип коллегиальности. Если об этом узнают его недруги, вроде Сухожилина, они, конечно, устроят скандал. Выиграл сражение и тут же его проиграл – так бы сказал военный. Ну, это, если можно так сказать, крупная жизненная мелочь. Важнее другое: секретарь обкома все время видел перед собой глаза людей колхоза «Партизан», как бы говорящие: «Зачем это? Кому это надо?» А как же быть дальше? Что же, Акиму Мореву самому, лично, вмешиваться в их беды, самому подбирать честных людей, налаживать хозяйство? Позвольте, Аким Петрович: в постановлении Пленума Центрального Комитета ведь сказано, что колхозники самостоятельно планируют свое хозяйство, самостоятельно подбирают доверенных людей, что колхозниками никто не имеет права командовать. Положено им помогать, разумно советовать. А это «помогать», «советовать» гаранины превращают в глупое, даже преступное командование. Да и только ли гаранины виноваты? И Аким Морев припомнил, как на одном совещании через два или три года после войны один из секретарей обкомов сказал, что «правления и особо председателей колхозов пора выбирать тайным голосованием», так его тогда обвинили в «народничестве», сказав, что колхозники еще не изжили в себе черты мелкобуржуазной идеологии и что поэтому любая попытка приравнять их к рабочему классу по меньшей мере глупа. Да. Того секретаря не только раскритиковали, но и сняли с работы. А не проявил ли он сам ныне подобное же «народничество», подтолкнув колхозников на то, чтобы они председателем колхоза избрали Чудина?

«Сердце скомандовало? Э, брат! Сердцем руководствоваться в общественных делах нельзя... А глаза? Какие страшные у них были глаза. И не прав ли был в своем утверждении тот секретарь обкома? Почему же тогда так свирепо отнеслись к его выступлению? Что это за нетерпимость была?» – так всю дорогу думал Аким Морев и теперь, увидев перед собой необычайные поля, не сразу понял, откуда они такие здесь взялись.

А Астафьев уже не в силах был усидеть на месте.

– Погоди-ка, Иван Петрович, – проговорил он, обращаясь к шоферу, и, когда машина остановилась, вышел из нее, оставив дверцу открытой.

Небольшого роста, в синей рубашке, тронутой жарким солнцем, без кепки, с растрепанными, тоже выцветшими волосами, он по колени утопал в густых озимях и, задрав голову, к чему-то прислушивался.

Аким Морев всмотрелся в небо. Там трепетала пичужка, совсем крошечная на фоне огромного лазоревого купола. Он тоже вышел из машины и только теперь услышал пение жаво-

ронка. Тот пел в самозабвении, то опускаясь, то снова взвиваясь, трепеща над гнездышком, спрятанным где-то тут, в густых зеленях.

– Идиллия! Говорят, это мешанская идиллия – слушать жаворонка. А ведь здорово, шельмец, работает! И красиво: смотрите, какие хлеба, какая пахота, какое небо и на этой громадине – крошечка-жаворонок! Работает шельмец, – повторил Астафьев, вдыхая аромат полей. И тут же спохватился: – Простите, Аким Петрович, оторвал вас от дум.

– Чьи поля? – спросил Аким Морев, неотрывно глядя на жаворонка.

– Усова. То есть колхоза «Дружба», а председатель – Усов. Работал в аппарате райкома, а потом попросился в колхоз и за шесть лет видите, как землю облагородил. А до него был Гаранин. Что мы ни предпринимали, а колхоз все равно трещал. Теперь видите, какие поля? И жаворонок душу веселит.

– Это что ж, колхоз вашего района?

– Да.

– Великолепно! – невольно вырвалось у Акима Морева.

– Как видите, земля та же, небо то же, советская власть та же и колхозники те же – переселенцы из Орловщины, – а колхозы у нас живут и процветают! – приподнято и в то же время шутливо прокричал Астафьев и опять раскинул руки над полями.

– А Гаранина вы спланировали соседу?

– Надо было бы предать суду. Пожалели: «С пушкой в революцию пришел». Странно: в семнадцатом году Гаранин воевал вместе с Иннокентием Жуком. Тот теперь вон какой, а Гаранин – вон какой!

Аким Морев припомнил Ростовцева.

– Сам чистенький, словно выстиранный и отутюженный носовой платочек, а в колхозах безобразия, – с неприязнью проговорил он. – Статуй? Действительно, статуй. Поверил бумажке и разрешил Гаранину изуродовать учителя Чудина.

3

– А ну-ка, Иван Петрович, давай вправо, на гидроузел колхоза «Дружба»! – снова с той же приподнятой шутливостью крикнул Астафьев.

И только теперь, когда машина тронулась, Акиму Мореву пришла мысль: почему это на полях колхоза «Дружба» нет и клочка незасеянной земли и нельзя ли такое рекомендовать колхозам и других районов?

Астафьев, не задумываясь, ответил:

– Нет.

– Почему? – подозрительно спросил секретарь обкома.

– Мы землю кормили всякими удобрениями лет пятнадцать. Она у нас, по крестьянскому выражению, стала жирной, потому мы теперь и клочка ее не оставляем холостой. В других же районах пока главное – черные пары, уничтожающие сорняки, вывозка на поля навоза, торфа, химикатов, подборка доброкачественных семян и так далее. И только после этого – ни одного пустующего клочка земли... И это колхозники сделают сами, если... если мы их в самом главном не будем оскорблять, – непонятным для Акима Морева закончил Астафьев.

Вскоре машина остановилась на берегу водоема, рядом с небольшой гидростанцией. За плотинкой, подпирающей речушку Иволгу, разлилось искусственное озеро.

Ниже плотины огромная равнина, прорезанная оросительной сетью. Там копошатся колхозницы, подкармливая ранние сорта капусты, помидоров и высаживая поздние. А вокруг все бугры заняты виноградниками.

– От огурцов они отказались: говорят, зачем воду возить в Приволжск? А помидоры, капуста, виноград дают большой доход, – пояснил Астафьев и, как художник, осматривающий

выставку картин, перевел взгляд на помещение гидростанции. – Отсюда и берет колхоз великие силы, – не оставляя шутливо-любовного тона, рассияв, продолжал он. – Электричество обслуживает бытовые нужды: освещает улицы, хаты, советские, партийные учреждения. Электричество гонит воду в коровники, свинарники, птичники, сортирует зерно, режет солому, травы на силос, подогревает теплицы, доит коров, в зимнее время подает корм скоту. А! – воскликнул он. – Усов и дикую корову приучил к дойке! Ну ту, что называется красная астраханская. Хотя какая уж там астраханская! Эту породу, Аким Петрович, когда-то монголы как выючное животное пригнали в Нижнее Поволжье из Индии.

По правую сторону водоема лежат огненно-красные коровы. На черноте выбитого тока они прямо-таки пылают. А чуть в стороне, как бы на страже, стоит могучий, в черно-белых пятнах бык. Он временами встряхивает головой на короткой с загривком шее, и кольцо, продетое в его ноздрю, поблескивает, как серьга в ухе древнего эфиопа. Коротковатым львиным хвостом он бьет себя по бокам, отгоняя овода, но временами замирает, и тогда кажется, бык создан из лучшего фарфора, раскрашенного черными пятнами.

– Производитель-то другой породы, – машинально заметил Аким Морев.

– Да, конечно, – подхватил Астафьев. – Его малышом Усов выпросил у Натальи Михайловны Ковровой. Не знаете ее? Заведующая животноводческой фермой в совхозе имени Чапаева. Ну, почти на Черных землях совхоз.

«Значит, и там надо побывать», – решил про себя Аким Морев.

Астафьев продолжал:

– Усов обязательно через два-три года сведет на нет эту так называемую астраханскую породу коров. Да вон, видите, идет молодежь.

Из мелкого ивняка, растущего на песках, вышли белые, разрисованные черными пятнами телята. Сначала они шли вяло, как бы не желая расставаться с тенью кустарника, но, завидя водоем и стадо коров, заспешили.

– Отцовскую рубашку перехватили. Смотрите, мамыши у них красные, а они в отца: черно-белые, – гордись, подчеркнул Астафьев.

В этот миг бык издал протяжный, переходящий в фистулу крик и направился в степь. За ним поднялось и все стадо.

Аким Морев долгим, внимательно-любопытным взглядом проводил стадо и только тут заметил, что в стороне от стойла заложена какая-то кирпичная постройка, а рядом с ней – небольшая хатенка, стены которой выведены из самана.

– Дворец доярок, – шутливо пояснил Астафьев. – Рядом строится настоящее жилье. Не хотите, Аким Петрович, заглянуть? – предложил он, в то же время беспокоясь, как бы не застать доярок спящими, поэтому, подходя к хатенке, начал усиленно покашливать.

Но из хатенки никто не вышел, даже не подал голоса.

– Видно, полдничают или ушли на деревню... – говорил Астафьев, приближаясь к открытой двери.

Но, войдя в хатенку, они увидели: по углам сидят доярки и что-то пересчитывают. Они так углубились в это дело, что даже не услышали Астафьева. И только когда он громко произнес почти над ухом доярки: «Колдуешь?» – та встрепенулась, и в руках у нее мелькнула пачка денег.

Астафьев осекся и даже покраснел.

А доярка просто сказала:

– Деньжата считаем, Иван Яковлевич: аванс получили...

Аким Морев спросил:

– И сколько же?

– Шестьсот сорок два рубля, – ответила доярка.

– А Нюра, вон, – она показала на соседку, которая тоже повернулась лицом к вошедшим, – семьсот шестьдесят получила. – И тут же лицо доярки передернулось, и она громко

заговорила: – Да ведь у меня в группе две коровы яловые! Животноводу нашему надобно шею наломать: указ «колхозного Пленума» нарушил, его за это надо жгутом по голым пяткам бить!

«Значит, здесь уже проводится в жизнь постановление Пленума ЦК: выдают аванс... Но не многовато ли они получают? Если шестьсот сорок рублей равняются двадцати пяти процентам, то, стало быть, доярка в среднем получит в месяц больше двух тысяч рублей?..» Аким Морев хотел спросить об этом Астафьева, но вдруг доярки, глянув в дверь, оживились, наперебой заговорили:

– Вася едет!

– Вася!

– Сейчас отчитается.

Из кустарника на тропе появился человек на велосипеде, усиленно работающий педалями. Вот он уже около хатенки. Ловко спрыгнул с велосипеда, прислонил его к стенке и, увидав высыпавших на волю доярок, заулыбался, что-то знаками показывая им. Он еще молод, лет тридцати, и с лица разумный, красивый.

– Кто это? – тихо спросил Аким Морев.

– Пастух. Глухонемой.

– О чем это он им рассказывает?

– Сейчас спрошу. – И Астафьев обратился к дояркам.

Одна из них, кургузенькая и шустрая, которой Вася только что особенно оживленно рассказывал о чем-то на пальцах, сообщила:

– Вася сегодня выходной, а в выходные он всегда объезжает пастухов соседних колхозов, узнает, у кого какие достижения по удою, и докладывает нам. Вася, – тоже на пальцах обратилась она к пастуху, – а у Филатыча как? Перебил он нас?

Вася замотал головой.

– Не перебил, значит? Тогда, стало быть, поедem с тобой в Москву, на выставку...

И доярка одарила Васю таким взглядом, что тот от волнения покраснел, а пожилая доярка с упреком крикнула:

– К чему ты, Катюшка, голову-то кружишь Васярке: ведь везде уж говорят, что он женится на тебе.

– А я и согласна! – вызывающе выкрикнула Катя и к Васе: – Тебе на выставке обязательно мотоцикл дадут. А мы вот что получили! – И, выхватив из кармана пачку денег, показала их пастуху, загоровшись глазами, как девушка, впервые надевающая венок из полевых цветов на голову своего возлюбленного.

Вася заурчал и улыбнулся ей.

Да и у других доярок глаза были совсем не те, что у людей там, в овраге. И секретарь обкома взволнованно подумал: «У Короленко в “Слепому музыканте” описан незрячий юноша, нашедший счастье и жизнь в музыке. Но ведь там творческая личность, а это не каждому дано, А тут глухонемой пастух... и вот, пожалуйста, живет общими интересами, нашел свое почетное место в общем труде...» И хотел было вернуться к первому вопросу: на каких началах доярки получают аванс, – но Астафьев сделал какой-то знак Кате, и та быстро спрятала деньги, а сам он почему-то заторопился.

– Поедемте к Усову, Аким Петрович, – сказал Астафьев и первый направился к машине, вызвав этим поступком недоумение у секретаря обкома...

В поселке колхоза «Дружба» Центральная улица уставлена характерными для этой местности домами. Они кирпичные, построены в виде сцепленных вагончиков: передняя, задняя комната, кухня. Перед каждым окном подвал, позади дома сараи, крытые железом. Судя по внешнему виду, все это построено лет тридцать тому назад: кирпич прочернел. Тут же, на Центральной, магазин, клуб, школа-семилетка, сельсовет и правление колхоза. Это новое, только что отстроенное.

Астафьев попросил Ивана Петровича, чтобы тот вел машину на вторую улицу, и здесь Аким Морев увидел около шестидесяти бревенчатых домиков на кирпичных фундаментах, на крышах поблескивал шифер. Красивыми крылечками и просторными окнами домики походили на дачки.

– Видите, Аким Петрович, в каких особняках живут переселенцы из Орловщины, а у Гаранина – в землянках. Эти дома для переселенцев Усов воздвиг, – все тем же полушутливым тоном произнес Астафьев. – Зайдемте, посмотрим, как живут орловцы. Никого из взрослых сейчас нет... Ребятишки да старики: на работе народ.

В домике, куда они зашли, в самом деле оказалась только старушка, весьма расторопная и говорливая. Она провела гостей по всем трем комнатам, чистеньким, прибранным, с молодыми цветами – фикус и герань. В спальне – широкая деревянная, видимо самодельная кровать, покрытая новым байковым одеялом. В другой комнате – обеденный стол, стулья, этажерка с книгами. Старушка водила гостей по комнатам, охотно все им показывала, а войдя в кухню и похлопав рукой по лежанке, пристроенной к подтопку, начала громко хвастаться.

– Больно уж спать тут тепло. А внучек лежанку отбивает. Говорю, чай, ты большой, в кроватке поспишь, а у меня кровь, как у младенца: зябну... – И тут же бабушка рассказала, что ее сын работает в колхозе кузнецом, что несколько лет тому назад они переселились сюда из Орловщины. – А теперь сынок мой говорит: «Пушкой нас отсюда не вышибешь. Работать тут будем и умирать тут будем». Радию завели, каждый вечер Москву слушаем. – И глаза у бабушки стали большие, удивленные, как у подростка, когда ему рассказывают о чем-то необыкновенном.

Выйдя из домика и осматривая улицу, Аким Морев раздумчиво произнес:

– Их, конечно, теперь отсюда пушкой не вышибешь, да и вышибать не надо. Поговорить бы с Усовым. Видно, интересный человек.

– У нас в районе, Аким Петрович, все интересные, – похвалился Астафьев с тем же задором, с каким хвалилась бабушка.

«А вот хвастаться тебе не положено, дорогой Иван Яковлевич!» – про себя упрекнул его Аким Морев, снова возвращаясь к мысли: два колхоза под тем же небом, на той же земле, а какая разница!

4

Усова в правлении не оказалось.

Пожилой человек, морщинистый, чем-то напоминающий Гаранина, сидел за столом. Он перекосил очки на носу и, глядя мимо стеклышка одним глазом на вошедших, сказал, показывая карандашом куда-то за спину:

– Нету Архипа Макаровича. Дома. Остальные кто где: кто в поле, кто на плантации, кто на коровнике. Кто где, – и снова уткнулся в какие-то вычисления.

– А вы-то что тут делаете, Терентий Ильич? – спросил Астафьев, улыбаясь.

– Колдую, – ответил человек. – Аль по-другому: нормальное перевожу в головоломку. А! Иван Яковлевич! – узнав Астафьева, воскликнул он. – Через очки-то и не распознал вас.

– Здравствуйте, Терентий Ильич, – подавая руку, проговорил Астафьев. – В самом деле, что вы тут колдуете? Секретарю обкома, товарищу Мореву, интересно.

Терентий Ильич, заместитель предколхоза, снял очки, дыхнул на стеклышко, протер его рукавом рубашки и посмотрел в лицо Аким Мореву.

– Вон вы какой, Аким Петрович. Слух среди нас: нашу руку держите? Правильно. – И ткнул карандашом в бумагу, исписанную цифрами. – Головоломкой занимаюсь. Я так думаю, собери всех бухгалтеров Москвы, и те закружатся до одурения. Рубль – ясно. Трудодень – туман. Так вот ясное положено перевести в туман, то есть рубль в трудодень.

– Ничего не понимаю, – недоуменно глядя на Астафьева, произнес Аким Морев.

А Астафьев в этот миг подумал: «Все равно теперь все откроется... но лучше не здесь», – и, деланно смеясь, проговорил:

– Шутит он. Терентий Ильич у нас любит пошутить. Пойдемте к Усову.

– Хороша шуточка: целые дни за столом торчу, аж голова гудит, как паровоз! – вдогонку им прокричал заместитель председателя.

На улице Аким Морев и Астафьев переглянулись. Аким Морев глянул на Астафьева со скрытым подозрением: «А что, Усов-то твой не закладывает?» Астафьев же посмотрел на секретаря обкома со скрытым страхом: «А и в самом деле скверно: все на работе, а председатель дома». Но через какую-то минуту Астафьев махнул рукой, как бы говоря: «А, была не была», – и предложил:

– Пошли!

Шатровый домик Усова красовался на красной стороне улицы и был так разукрашен резьбой, что посмотришь на нее, и глаза разбегаются: тут один рисунок, там другой, а вот здесь вроде висят широкие кружева. Ворота крепкие и тоже украшены резьбой, окрашены, как и весь дом, в голубой цвет.

– Ничего себе, а, живет Усов-то? – подозрительно усмехаясь, произнес секретарь обкома.

– Что же? Очень хорошо. Не лицемерит, а показывает пример, – уверенно произнес Астафьев, хотя все еще боялся, что они застанут председателя за каким-нибудь личным делом или, что хуже, спящего. Поэтому, войдя во двор, он закричал:

– Эй! Хозяин! Принимай гостей!

На его зов из-под сарайчика выглянул Усов, пряча за спину правую руку. И походил он в это время на борца: крепкий, с желтовато-медным отливом кожи. Улыбнувшись во все лицо, он взмахнул правой рукой, в которой блеснул окровавленный нож.

– Иван Яковлевич! А кто там за тобой? О! Аким Петрович! Вот гости, так гости! Да я сейчас управлюсь. Глядите-ка, жирен, стервец. Боровок, – и Усов пошлепал ножом по задку боровка, продолжая без всякого смущения: – Скоро сын из вуза на каникулы вернется. Уля, моя жена, и сказала: «Коли. Виктору костюм надо шить». Ну, я и чиркнул боровка. А вечером некогда: собрание колхозников у нас и мой доклад... Уля! – неожиданно громогласно позвал он. Когда на крылечке появилась женщина с густыми черными бровями, перетянутая в талии, и черными острыми глазами окинула прибывших, Усов добавил: – Уля! Гости к нам. Давай их свежей свининкой угостим. Хорошие гости!..

За столом, подмигивая жене, чтобы почаще подкладывала гостям свининки, Усов рассказывал, как они живут с женой. Говорил он посмеиваясь и все отклонялся, ожидая шлепка от Ули.

– Она ведь у меня татарка, магометанка, стало быть, а я православный... Как поссоримся из-за чепухи какой-нибудь, я ей нарочно свиное ухо покажу, она и вспылит. Вот такое. – Он вцепился в край полы пиджака, и действительно она приняла форму уха.

– Опять за это? Опять? – И Уля, тихо смеясь, несколько раз с силой шлепнула по твердому плечу Усова и от боли затрясла рукой. – Железный.

Гости расхохотались, а Усов громче всех. Затем он оборвал хохот и, посерьезнев, заговорил о полеводстве, животноводстве, овощеводстве и даже вступил в спор с Астафьевым о применении ультрафиолетовых лучей при выращивании цыплят и поросят.

Аким Морев, решив, что сейчас разгорится длительный спор, стал наводить разговор на то, что взволновало его и зачем он приехал сюда:

– Ну а народ работает? Переселенцы как?

– Не нарадуюсь. Есть, конечно, и такие – вечно ворчат. Но их капля в море. Маловато мы колхозникам выдали в прошлом году, вот беда.

– А сколько?

– По три килограмма зерна и по восьми рублей деньгами на трудодень, конечно. Ну, там капуста, огурцов, помидоров и арбузов.

– Хвастаетесь! – грубовато сказал Аким Морев. – Какой же это душевный разговор у нас с вами получится, если вы так со мной?..

Усов откинулся на спинку кресла, а Уля обидчиво уставилась на Акима Морева, как бы говоря: «Он-то, мой сокол, и хвастается? Да он сейчас тебе весь свой план развернет».

Усов же опустил голову и глухо произнес:

– Дадим колхознику ложку каши на месяц и кричим в печати: вот какие мы добрые! А когда говоришь: этого мало, – тебя упрекают: хвастаешься.

– Но в «Партизане» только по сто граммов на трудодень дали, – возразил Аким Морев и тут же понял, что привел нелепый пример.

– Равняться на «Партизана» – значит утопить колхозников в нужде, – уже с задором подчеркнул Усов.

– На кого же, по-вашему, равняться?

– На рабочего.

– Ну, это трудненько, – видимо, подначивая, вымолвил Астафьев.

– Нелегко, – согласился Усов. – А равняться надо. Какой же это социализм, ежели колхозник не обеспечен квартирой, ванной, электричеством, театром, кино, библиотекой и каждый день только о том и думает, где бы достать корку хлеба?

– Ну, у вас-то о корке хлеба не думают, – снова возразил Аким Морев.

– Думают... в широком смысле. Что такое три килограмма и восемь рублей на трудодень? Это ведь рублей пятьсот – шестьсот в месяц. В лучший год. А в худший еще меньше.

Астафьев знал все, что может сказать Усов секретарю обкома. Это же самое он мог бы сказать и сам. Но, наученный горьким опытом, он стал толкать на откровенность хозяина дома, чтобы потом, в случае беды, умело защитить его. Сделав неприступно-суровое лицо, он сказал:

– Равняться на рабочего? Это значит, братец, как утверждает Сухожилин, разжигать антагонизм между городом и деревней.

– А на кого же нам равняться? На несчастного, забитого негра, что ли? У того ведь что есть на нем – то и все его богатство. А у Ермолаева в совхозе видели, как рабочие живут? Отдельные домики-квартирки, палисаднички, театр, кино, общедоступная баня и обеспеченный средний месячный заработок – минимум восемьсот рублей. Сможем ли мы достигнуть такой высоты? Уверен: сможем. Вот мы построили электростанцию, и половину работ в колхозе выполняет теперь вода речонки Иволги: молотит, теплицы топят, коров доят, корма скоту подает и так далее. Мы решили сменить породу коров. В скором времени сменим – и молоко польется. Нужно строить маслобойный завод, как у Иннокентия Жука. Вот с кого пример надо брать, а не с «Партизана»! Иннокентий Савельевич и килограмма сырой продукции из колхоза не выпускает. Кроме, конечно, шерсти и зерна государству. Из грязной воды после мойки овечьей шерсти, и то деньгу выколачивает. С него и берем пример. У нас овца дает два килограмма шерсти, добьемся – шесть будет давать. – И Усов залился веселым, задорным смехом. – Есть такой знаменитый чабан в колхозе «Гигант» – Егор Васильевич Пряхин. Беда с ним в эту весну случилась: вся отара подо льдом погибла.

– Какой же он знаменитый, ежели отара погибла? – опять преднамеренно ковырнул Астафьев.

– С кем она не может случиться, беда-то, Иван Яковлевич? Великим знатоком своего дела считается Егор Васильевич... Так я к нему в помощники своего паренька подсунил... – И Усов снова разразился звонким смехом. – Познает паренек секрет искусства и к нам принесет. Факт. А как же? Иным порядком у Егора Васильевича его секрет не выудишь. С зерновыми тоже: говорим о новшествах, о науке, а за кубанку держимся. Иван Евдокимович Бахарев...

– Знаете его? – перебил Аким Морев, тоже почему-то заблестев глазами.

– А как же! Он вроде электрический свет во тьме. Был недавно я у него. Показал он мне посевы новых сортов пшеницы, им выведенных. Я, конечно, легонько, но килограммчика три семян у него спер.

– Вот уж это неприлично – воровать, – смеясь, попрекнул Астафьев.

– Да это воровство святое: то зерно мы посеяли. Хорошая полянка получилась. Академик даст или не даст нам семян, а мы уже свои разводим. Сменим в полях старые сорта пшеницы и опять разбогатеем. Так вот, шаг за шагом, и приблизимся к рабочему классу.

Наступила пауза...

Аким Морев нарушил ее:

– Мы беседовали, правда накоротке, с вашими доярками... И что-то я не пойму: они получили за месяц, как мне показалось, аванс в шестьсот, в семьсот рублей каждая. Это что же у вас такое?

Усов, сощурив глаза, из которых так и брызнуло жизнерадостное веселье, взмахнул руками и, повернувшись к Астафьеву, сказал:

– Открыть карты перед секретарем обкома, Иван Яковлевич? Что-то верю я ему...

Астафьев поежился и, стараясь шутить, произнес:

– Да открывай уж. Чего уж. Если за это нам будут мылить шею, начнем с тебя: самостийно проводишь, райкому об этом на днях только стало известно, – подчеркнул последние слова секретарь райкома, чтобы Усов понял: держись, дескать, такой линии – райком не в курсе.

Усов задумался и, глядя куда-то вдаль, как бы обозревая все хозяйство колхоза и людей, работающих в этом колхозе, начал:

– Что такое трудодень, Аким Петрович? Это, по выражению моего заместителя, туман. Сплошной туман: через него не видать ни хат, ни леса, ни светлого солнышка. Лет шесть тому назад меня из райкома рекомендовали сюда председателем колхоза. И когда я приступил к работе, то сразу натолкнулся на него. Те же люди у нас работают, что и в те поры, но тогда они на работы шли нехотя: бригадирам по утрам десятки раз надо было подходить под окна, стучать, упрасивать: «Идите, товарищи, поработайте». А те чертыхались. Я, Аким Петрович, к сожалению, не из грамотеев, не из тех, кто высшее там окончил. Но почитываю... и особенно интересуюсь историей развития человеческого ума. Ученые доказали, что человек выделился из мира животных, то есть из мира скота, птиц и прочих, благодаря тому, что овладел трудом. Стало быть, это качество присуще только ему, человеку, а оно ему дано от природы, стало быть, трудиться – это его естественная потребность, как и любить, думать. Может, я тут что путаю? Но мысль моя такая: никогда еще в истории человечества не было такой свободы для проявления этой способности человека – трудиться там, где хочу, – как это предоставлено ныне у нас в стране... И вот я представляю себе: я рядовой, честный колхозник. Работаю не покладая рук... А мне за мой труд осенью выдают «вязанку палочек». А весной горы сулили! Ведь такое, кроме материального ущерба, наносит мне еще и страшное оскорбление. – Усов сделал паузу, видимо решившись сказать такое, что еще никому не открывал, и вдруг, побледнев, загремел басом: – Ведь это оскорбительно: результат моего труда безнаказанно растащили, пропили, разворовали Гаранины и их собутыльники. Я, колхозник, все это вижу, все это происходит у меня на глазах, а мне еще Гаранины бросают в лицо: «Ты саботажник. Ты лежебока. Ты лодырь». Когда партия обращалась ко мне и говорила: «Дорогой друг, государство в нужде: надо в стране создать мощную индустрию, иначе мы погибнем, подтяни живот», – я подтягивал. Когда грянуло народное бедствие – война, я, колхозник, не только подтянул живот, но и пошел на фронт и бил там врага. А теперь? А, да что там... – Снизив голос и с трудом перебарывая себя, Усов насильственно улыбнулся. – Давайте лучше еще чайку выпьем.

Наступила тревожная тишина. Усов потянулся к пустому стакану. Но стакан перехватила Уля и сказала:

– Давай уж, Гриша!

– Говорить?

– Выкладывайте уж! – в тон хозяйке произнес и Аким Морев.

– А по заправке не схвачу? – Усов расхохотался. – У нас в колхозе старичок живет. Ефимыч. Мудрый. Редко бывает в правлении, но если придет, то сядет за стол и долго смотрит мне в глаза. Спрошу: «Ты что, Ефимыч?» Отвечает: «Сказать хочу». – «Говори». – «А не схлопочу по заправке?» И скажет. Всегда хорошее для колхоза.

– Этого даже в шутку выставлять здесь не положено, – хмурясь, проговорил Астафьев.

– Так вот, самая страшная эта штука, когда меня оскорбляют в моем труде, – ответил Усов, – заставляют работать там, где растаскивают, пропивают результат моего труда. Лучше уйду отсюда. Куда? В город. Там мои братья, рабочие, с которыми мы плечом к плечу защищали советскую власть на фронте. Они помогут мне. А мне паспорт не выдают... Кто? Гарины. Ах, так? Уйду без паспорта... Оврагами, глухими тропами.

«Так вон о чем говорил мне по дороге Астафьев: оскорбляем людей в самом главном – в труде!» – мысленно воскликнул Аким Морев.

А Усов в эту минуту резко изменил тон и – в упор к секретарю обкома:

– Аким Петрович, скажите не кривя душой, если бы систему трудодня перенести на фабрику, долго бы продержалась эта фабрика? Рабочему, к примеру, надо за квартиру платить, а ему на заводе выдают вместо рубля трудодень. Ведь не примет банк за квартиру трудодень! И магазин не примет. И базар не примет. Так как же рабочему быть? Не развалилось бы в таком случае производство?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.